

18+

# ВОСПОМИНАНИЯ О ДАЛЁКОМ



Александр  
Давидюк

# Александр Исаевич Давидюк

## Воспоминания о далёком

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=57339971](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57339971)*

*ISBN 9785449884992*

### Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. «Воспоминания о далёком» – это автобиографические документальные очерки и эссе с острыми интригами сюжетов и невольными размышлениями о наиболее ярких событиях и встречах с людьми в течение всей жизни. Много документировано фотографиями. Имена участников событий подлинны, как и сами события.

# Содержание

Моя мама	5
Санечка Барбос	19
Перепись населения	63
Прививка стекловатой	71
Полёт в кокпите Ту-104	88
Суд Линча	91
С ведром на стену	104
Берегите гадов	112
Конец ознакомительного фрагмента.	115

# Воспоминания о далёком

## Александр Исаевич Давидюк

*Нельзя выдумать историю живее той,  
что мы пережили.*

*Посвящается памяти моей мамы.*

© Александр Исаевич Давидюк, 2020

ISBN 978-5-4498-8499-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Моя мама

*Кто мы? – След наших предков*

Меня родила молодая красивая незамужняя брюнетка – Галина Ульяновна. Мама была искалечена войной. В эвакуации на производстве лишилась правой руки. Это была тяжелейшая производственная травма. Тогда ей было 16 лет. Как обычно, рано утром девушка приступила к работе. Она была аппаратчицей в цеху, наблюдала за работой огромных машин по переработке хлопкового сырья. На полуголодном пайке и в непрерывном грохоте машин в жарком и душном цехе девушка проработала две смены и около 23 часов почувствовала головную боль, головокружение и усталость. Она попыталась выпроситься у охранницы на выходе из цеха на свежий воздух. Та её грубо отчитала и развернула обратно. Моя будущая мама через пару минут из-за головокружения и обморока упала в машины. Её заволокло в барабаны, прокрутило, попротыкало, продавило и выбросило под потолок, как сообщили потом другие работницы. Была сильная кровопотеря. Рука была так раздавлена, что её сразу ампутировали до плечевого сустава. Через две недели (!!!) маму выписали на работу. Она послушно приступила к своим обязанностям. И снова упала в обморок, к счастью, не в машину. Тогда медкомиссия отправила её «в санаторий» – по-

работать в колхозе, на свежем воздухе и с питанием.

Ну какая работница из девочки без руки в колхозе! Её назначили птичницей – носить корма и воду. Она не смогла носить тяжёлые вёдра. Председатель с женой это поняли, когда увидели мамину беспомощность. Тогда поставили девушку учётчицей. Мама не подвела, она была честной и добросовестной в работе. К тому же образована – закончила девятый класс. Председатель с супругой отнеслись к девушке с сочувствием, и она хорошо питалась. Okрепла.

Прошли два года. Настала весна 1944-го. Когда мама узнала, что Одесса освобождена от оккупантов, она попросила отпустить её домой. Маме в дорогу подарили два чемодана. Один с личными вещами, второй с копчёными курами и яйцами. Всё упаковали, чтобы доехало. Отвезли на станцию. Мама рассказывала, что она ни разу не поднимала чемоданы. Кругом были люди, которые ей постоянно помогали при пересадках. Чемоданы ей донесли до дверей квартиры. Такое было сочувствие людей друг к другу, деятельное сочувствие!

Мама так и осталась без образования. Она не могла меня чему-нибудь научить. Но у неё было много достоинств.

Писателей и поэтов можно судить по словам. Учёных – по идеям и открытиям. Композиторов – по их музыке. Политиков – по исполнению обещаний. А вот нас, простых людей, можно судить только по поступкам. А как ещё? Колбасника судят по колбасе. Это и есть его профессиональный поступок. Даже если мы что-то брякнем – это тоже поступок.

По нему и судят, если мы делами себя не проявляем. Так вот, моя мама была просто честной и добросовестной в поступках. Я её знал полвека и могу заключить: она не могла быть другой, такой родилась. Заповеди Моисея были, наверное, списаны с таких, как она, какими нужно быть. Нет, всё же добавлю. Из-за таких, как она, Иисус из Назарета реформировал мораль от Моисея: мама даже не помышляла о плохом!

Специальности у мамы не было, и у неё не было претензий на заработок. Только с годами, взрослея, стал я это осознавать. В её сознании не умещалось денег больше, чем её зарплата. Это – деятельное смирение.

Мама была большой любительницей кино. Она очень любила испанские музыкальные мелодрамы. Особенное обилие слёз вызывали в ней сериалы. В сериале «Дикая Роза» она увидела себя, брошенную с ребёнком, но гордую, не принявшую законную помощь моего отца на моё воспитание. Сериал она увидела, когда стала бабушкой.

В реальности с мамой обошлись слишком жестоко. Суровый сталинизм с его надуманными трудностями и навязанными жестокими испытаниями ударил по каждому и по всем вместе. Пролетарская революция полоснула по нашей семье конфискацией жилья, двух тягловых лошадей с биндюгом, голодом, гибелью, искалечением и уничтожением близких в войне и терроре. Мать наелась реальности досыта. Как инвалид, она была лишена какого-либо социального будущего.

У неё ничего, кроме меня, не было. Только примитивная работа носить телеграммы и радоваться, как я расту.

Алкоголь она не пила, не курила и всё время боялась, как бы я не вырос алкоголиком и курильщиком. Мама смотрела кино и обсуждала судьбы героев с такими же одинокими подружками. Читать книги ей было неловко – одной рукой с книгой не справиться.

Одесса была Вавилоном в том смысле, что в ней проживало множество национальностей. Маму принимали за француженку. Особенно когда появилась Мирей Матьё и мама сделала себе её причёску. Тогда и спрашивать перестали, просто выражали восторг. Маме нравилось.

Гуляли как-то по Дерibasовской, и пожилые знакомые, знавшие маму с довоенных лет, спросили:

– Галочка, а сколько вам уже лет?

– Двадцать девять, – смело улыбнулась мама.

– Мама, но тебе тридцать пять! – рубанул я правду под корень, глядя снизу, и потянул за руку.

Мама пожала плечами и улыбнулась:

– Ну вот, с ним не помолодеешь!

Все рассмеялись, и знакомая обняла маму.

Я не помню, чтобы она с осуждением говорила о ком-то из знакомых, соседей или сотрудников. Только если кого-то избили или убили, она горестно покачивала головой и долго повторяла в никуда: «Дураки. Ох, дураки!» Однажды сосед-очевидец рассказал, потом я видел сам, как на улице дра-

лись. Она бросалась одной рукой (!) разнимать дерущихся с криком: «Ну что же это такое?! Дураки! Прекратите сейчас же!» И я сделал вывод: моя мама – отважный миротворец. Я не боялся за неё. Её знали в послевоенной Одессе – совершенно бесстрашную, молодую, черноволосую, стройную, живую смуглянку, хорошенькую, но изувеченную, без правой руки. Её знали и потому, что она доставляла в течение полувека телеграммы. Одесса – это город моряков. Телеграммы были преимущественно от них.

Моя школьная учительница с «ником» Розочка однажды мне сказала, что знала мою маму ещё не зная меня.

– Откуда?

Розочка слегка замялась и сказала:

– Ну, она же была такая красивая!

– Да?! – повёлся я.

Но позже понял, что моя любимая Розочка мне соврала. Конечно, она не из-за этого её запомнила. Она её запомнила потому, что мама была изувеченной красавицей. Она была до боли в глазах и сердце заметна всем прохожим. Люди бы не смогли её забыть. Красота без руки уродлива, а это сжимает сердце. «В человеке всё должно быть прекрасно», – подумал бы Антон Павлович Чехов, печально глядя моей маме вслед. У мамы была красивая фигура, но без одной руки. Глядя на безрукую Венеру, мы не задумываемся об этом жутком сочетании потому, что это просто камень.

Мне шёл четвёртый год. Однажды мама забрала меня,

как обычно, из круглосуточного садика в субботу к вечеру. За оградой улица оказалась безлюдной. Мама остановилась, потому что я бегал вокруг неё, подбегал и убегал. Вдруг я заметил красные нависшие знамёна с чёрными лентами. Знамёна означали праздник. Чёрные ленты меня насторожили. Никогда не видел. Я спросил. Мама слегка наклонилась ко мне и ответила, что это умер один очень злой человек. Она больше ничего не произнесла. Лишь несколько лет спустя я вспомнил этот эпизод, когда узнал, что тогда умер виновник бед моей семьи, всего человечества. Он разорил нас и ничего не дал взамен, кроме войны, смерти, увечий и нищеты.

Эти два цвета – красный и чёрный – ассоциируются в моём сознании с кровью и смертью. Гитлеровские знамёна были того же цвета. У меня была неприязнь и к красным галстукам, и ко всей этой муштре пионерской. Нет, почему же, мне нравится военная дисциплина и «морской порядок в танковых войсках», как весело приструнивала меня мама, пытаясь приучить к порядку в вещах. Я вполне осознаю эту необходимость. Необходимость простого порядка и аккуратности! Но не подготовку детей к новым войнам. И на галстуках, и на знамёнах, и на транспарантах была «пролитая кровь большевиков», требовавшая вечного возмездия. Психоз! Где же эта сила, что покончит с красно-коричневой чумой?

Я стал врачом, и у меня самого появились дети. Мама рассказала мне об отце: Илья Михайлович Николаев, по-

мор, тогда проживал в Мурманске. Она никогда не говорила о нём плохо или с осуждением. Она понимала, что мало кто согласится жить с женщиной без правой руки. Понимала, но не прощала. Мы все сотканы из противоречий. Отец меня не видел до своего отъезда в Мурманск. Он был срочно отозван. Сам он был мурманчанин. Отвоевал на Северном море, потом, после освобождения Одессы от оккупантов, был командирован на восстановление военно-морского флота. Выполнив свой долг, отец вернулся на родину, в Мурманск. Но между делом появился на свет и я – сын Севера и Юга. Поморы стали смешением северных славян с викингами, они в грабительских набегах друг на друга обменивались регулярно генофондом. Палящий холод слился с леденящей страстью.

Мама была максималистка: всё или ничего. Отец не женился, и мама отказала ему в отцовстве. Всё было в точности как в фильме «Дикая роза», только у нас на тридцать лет раньше. Послевоенные годы даже в Одессе были голодными. Однажды мама с братом Яшей съездили в Мурманск к моему отцу Илье и привезли эмалированное ведро, переполненное сливочным маслом. Мама отказалась от алиментов. Отец ежемесячно посылал по почте переводы на моё содержание. Мама договорилась с начальницей почты, что все переводы будут регулярно возвращаться отправителю. Легкомыслие, неуместная гордыня, переоценка собственных сил. Судя по тому, что до моего совершеннолетия отец без вся-

кого судебного решения ежемесячно по почте делал переводы на моё содержание (из Мурманска в Одессу), могу судить о нём как о порядочном и честном человеке. В общем, крутилась 18 лет подряд одна и та же сумма. Хотя я был лишён даже достаточной пищи.

Это была «дикая роза», гордая и независимая.

Я маму обижал, не слушался. Убегал от неё. Я не боялся её короткой культы вместо руки, но меня отвращала от мамы эта неестественность, эта ущербность, эта короткая уродливая культяшка в плече вместо руки. Позже, став взрослым, я понял, как глубоко это её ранило. Мама не подавала никаких признаков обиды. Она просто уединялась от реальности своего несчастья и от меня в кинотеатре.

Припоминаю, однажды главпочтамт организовал коллективное культурное мероприятие – посещение оперного театра. Мама взяла меня с собой. Шла опера «Мадам Баттерфляй». Когда офицер пропел: «Сколько вам лет?», толстая тётка, замазанная белилами, ответила: «Восемнадцать». Мне было смешно. Но мама всю оперу проплакала. Теперь я понимаю: она в истории с Чио Чио Сан увидела свою историю и свои надежды. В 16 лет я услышал оперу совершенно по-другому, когда были торжества в 1965 году по случаю братания городов Одессы и японского Иокогама. Либретто оперы было действительно похоже с историей моей мамы в портовом городе и морского офицера из Мурманска.

В повседневной жизни мама никогда не витала в облаках,

была рациональна и реалистична. Она была очень добросовестным, исполнительным работником и очень ценилась. Ни в какие интриги она не влезала. Интригам не было места в её душе. Она не была скандальной, но за себя постоять могла и за словом в карман не лезла. Мама могла общаться только с умным человеком и меня к этому приучала. При глупых она отмалчивалась, не спорила. Мне это не передалось.

Однажды, классе в пятом, я был приглашён моим соучеником Эмиком на День рождения. Я впервые оказался в таких обстоятельствах и не знал, как себя правильно вести. Утром упрекнул маму: мол, почему она меня не воспитывает, не учит, как надо себя вести в обществе? Мама на секунду задумалась и тут же ответила: «Если ты дурак, тебя ничему не научишь. А если ты умный, то сам до всего дойдёшь». Мудрее не скажешь. Я понял, что более подробного руководства я не дожусь, и решил сам до всего доходить. Но лучше вооружившись человеческим опытом и известным кодексом поведения.

Наутро побежал на улицу Ришельевскую. Там вдоль торговых книжных рядов «старой книги», недолго рыская глазами по прилавкам, нашёл потрёпанную «Этику поведения» и за 20 копеек образовался.

В богатом городе Одессе школьные годы мои были полуголодные. Питался в столовой. Я рос, и 50 копеек на обед мне стало не хватать. Попросил у мамы добавить. Спросила: «Сколько?» Я ответил: «Пять копеек». Мама задумалась

и ответила: «Нет». Бюджет трещал. Да и доверие я утратил, когда однажды сэкономил, недоедая, и купил себе чернильную авторучку-пипетку за целый рубль! Это было ноу-хау! Но и мои первые попытки шагать в ногу со временем и оборудовать рабочее место. С моей стороны это было нечестно. При нашей бедности честно продвигаться вперёд было невозможно. Пришлось ещё долго окунать в чернильницу стальное перо со звёздочкой, продвигаясь простым эволюционным путём в ногу с обществом.

Живя в полной бедности, я не получал никаких подарков. Это были ещё послевоенные годы, и страна сама ещё была обескровлена и безрука, как моя мама. Дети во дворе часто хвастались подарками. И мне хотелось. Но мама отрицательно качала головой. Зато, когда подрос, я получил от мамы на три дня рождения подряд самые дорогие подарки, какие мог только вообразить: маску и ласты для ныряния, фотоаппарат и взрослый велосипед! Каждое лето я не вылезал из моря, не слезал с велосипеда и не оставлял фотоаппарата.

Спустя много лет, мама призналась, что соглашалась принять деньги от моего отца исключительно на подарки к моим дням рождения.

В 14 лет я был приобщён к общественному порядку. Сдал на водительские права и получил жёлтый номерной знак на новенький велосипед. В удостоверении было написано: «Имеет право управлять велосипедами и конно-гужевым транспортом в г. Одессе. 1963 год». Все смеялись. Мама

сказала: «Но ты же внук биндюжника! Гордись! Теперь и ты имеешь право». Дорожным правилам я обучался на курсах. Был единственным подростком вместе со взрослыми. Преподаватель был талантлив. Я помню каждый его урок. В заключение он дал нам самое главное и самое важное правило. «Уступи дураку дорогу». Экзамен в милиции я сдал на отлично.

Мама была оптимисткой. В отличие от меня была без комплексов. Она любила танцевать, любила плавать в море. Имея одну руку, она научила и меня плавать. Мама мне доверяла. Всё, кроме денег. Боялась, что я не поем, но куплю себе чего-нибудь ненужного. И она была права. Я выкраивал на транзисторы, которые не работали.

Моя мама была несчастной одинокой женщиной. Искалечена, брошена, незащищена. Любой мог её обидеть, унижить, оскорбить. Ей даже пощёчину нечем было дать. Она не могла ничем ответить. Лишь иногда печально говорила: «Дураки».

Подлость и коварство подчиняют себе человека только тогда, когда в нём нет совести. Такие найдут самую невинную душу и испепелят её безжалостно и мучительно.

Однажды, маме уже было семьдесят, одна из старух-соседей в курортном посёлке, где мы жили и куда я перевёз маму, оскорбила её. Мама как-то проходила мимо её калитки по дороге домой. Соседка подозвала её. Когда мама подошла, она ей сказала: «Тебе руку немцы оторвали за воровство?» Это была явно нездоровая умом старуха. Мама при-

шла домой и тихим голосом об этом рассказала. Она не жаловалась, лишь только пересказала. Мне было очень больно за эту несправедливость, за оскорбление мамы, но я ничего не мог сделать.

Маме всю жизнь люди в быту и на работе доверяли тайны, деньги, документы. Мама держала в голове все телефоны постоянных клиентов телеграфа и обходилась телефонным сообщением, настолько ей доверяли. Она нередко находила кошельки и отдавала владельцам, категорически отказываясь от вознаграждения. Мама жила просто, без пафоса.

Когда я собирался покинуть родину, один чиновник, видимо сытый с детства, заявил: дескать, меня родина бесплатно выучила и надо бы должок отдать. На это я ответил, что все свои долги родине я отработал за нищенскую свою зарплату в захолустье (спасибо, народ прокормил, как Семашко с Лениным замышляли). А матери моей чем родина сына-сироту растить помогала? Тем, что недоплачивала ни в зарплате, ни в пенсии по инвалидности, намереваясь заплатить за моё будущее обучение? Тем, что я в детстве и студенчестве хронически недоедал? Так что мы с родиной в полном расчёте. Это родина меня бросила. Я ей офицерскую присягу давал. А она развалилась от немощи, и никто, кому было положено, не защитил её от развала.

Произошла однажды большая неприятность. Был я ещё лет шести. За что-то разозлился на маму. Скорее всего, она меня не отпустила погулять. Мама слегла днём в постель, по-

просила меня подать ей воды и накрыть ещё одним одеялом. Я надулся и убежал во двор. Мама кричала, звала меня. Я слышал в открытые окна, но упрямо не возвращался. Соседи услышали и побежали к нам на второй этаж. Потом приехала скорая. Маму забрали на носилках в клинику. Всем двором, толпой пошли её навестить, взяли и меня с собой. Вышла мама. Я её не узнал. Выглядела несчастной, серой, в сером больничном халате. Она всё никак не могла одной рукой его подвязать и ей помогли соседи. Я стоял в стороне. Мама что-то тихо рассказывала. Все успокоились. Потом мне сказали, что всё в порядке. Мама выздоровела и восстановилась.

Полы я не мыл, ничего в квартире не делал. Как там мама выжимала тряпку, как мыла полы, как стирала одной рукой, меня это не интересовало.

Если я упрямился в чём-нибудь, мама называла меня «врединой». Став старше, помню, при мне мама пыталась помыть себе руку. Мыла она в маленькой мисочке в двух водах. На это было жалко смотреть. До меня дошла вся трагедия моей мамы! Сразу схватил мыло, ковшик с водой и помыл маме руку. Я впервые ужаснулся. Она даже руку помыть себе не могла! Ни ногти обстричь, ни почистить. Я становился другим и стал её жалеть.

Иногда мама кому-то жаловалась: «Как бы я хотела иметь дочь! Я так надеялась, что родится девочка! А тут – сын. Хотя бы чем помогал!» – добавляла мама громче, чтобы и я слышал. Слышал я всё, но толку от этого не было. Даже на-

оборот, больше упрявился, делал назло.

Не могу себе простить ни одного эпизода, когда проявлялась моя неблагодарность и немилосердность к маме. Мне стыдно и больно вспоминать все обиды, которые я ей причинял в течение всей моей жизни.

Мама осталась в памяти открытой и доброй ко всем людям. Но она не смогла стать мне настоящей матерью только потому, что предпочла прокормить и одеть меня, лишив материнского внимания и контакта. У неё выбора не было. Заработок был мизерный, она не могла обеспечить мне уход из-за своей искалеченности, она отдавала меня в круглосуточные детские учреждения. Я отвык от мамы с годовалого возраста, не успев привыкнуть. Это было её жертвой. Я вырос, выучился, стал полезным людям, родил детей. Я благодарен ей и обязан ей своей жизнью.

# Санечка Барбос

*«Если ты дурак, тебя ничему не научишь.*

*А если ты умный, сам до всего дойдёшь».*

*Моя мама*

Одесса. Летом 1950 года мне исполнился год, и меня отдали в круглосуточные ясли на Пироговской. Прокормить и присмотреть за мной моя однорукая мама и моя потрясённая жертвами минувшей войны бабушка не были в состоянии – в общем, обе после войны остались искалечены. Им пришлось обеим за гроши работать. Круглосуточные ясли с питанием были единственной возможностью меня выходить.

С года жизни до восьми лет я был оторван от матери на шесть дней в неделю и лишь один день проводил с ней, да и то не весь и не всегда. Играл с другими детьми во дворе. Приглядывала бабушка. А мама могла весь выходной просидеть на граните у универмага на Пушкинской, продавая почтовые открытки для копеечного приработка, или в бане ве-совщицей. Что могла ещё однорукая женщина без профессии и образования? Не помню своей тоски по маме ночами в детском саду. Видимо, всё это уже проплакалось в яслях, и стал я чёрствым к дому и равнодушным к маме. Постепенно мама вытеснялась другими образами, другими людьми.

Нет, маму никем не заменить. Так я и остался полным сиротой – без отца, без мамы, что была сама беспомощным инвалидом. А где вы видели счастливого ребёнка в окне детдома?

Так незаметно я вырос, и в три годика меня выпроводили из яслей в детский сад. На прощание был устроен выпускной утренник. Дети были нарядно одеты. К сожалению, имя моей первой любви я позабыл, зато помню наш последний день как вчера.

Нас поставили друг против друга, лицом к лицу, чтобы сфотографировать, и чтобы мы попрощались. Взрослые, видимо, так представляли наши отношения – как у взрослых. Я гляжу на неё с созерцательным умилением. Она – на меня с нежным доверием и ямочками на щёчках. Такие влюблённые взгляды у трёхлетних детей выпросить невозможно. Они были естественны. Едва что-то умещавшая маленькая душа уже переполнялась чувствами. Эта девочка была мне всегда рада и щебетала вокруг. Что конкретно мне в ней нравилось? Возможно, просто образ белокурой девочки. Просто любил то, что передо мной бегало, прыгало и чирикало. На фото она вся в белом, с веночком из розочек на белокурых волосах. Я с чубчиком на остриженной головке, в белой рубашке и в вельветовых чёрных бейджиках на «плечиках». Помнятся женские голоса, и среди них мамин: «Ну поцелуйтесь же на прощание». Фотограф щёлкнул.

Видимо, наша первая, тайная любовь была уже нашим мамам и нянечкам известна. Чувства скрывать ещё не научи-

лись. И тем более не научились «властвовать собой». Мы не осознавали, что это расставание навсегда. Не обнялись и не поцеловались ещё и потому, что показушность дети чувствуют. Помню, я постеснялся и упёрся, хотя очень хотелось. Дети чувствуют и интимность отношений, и сокровенность, и стыдливость.



Когда мне было три года, мой дядя Яша со своей 18-лет-

ней супругой Элизой решили оставить меня у себя переночевать. В одной комнате коммунальной квартиры с тремя соседями проживали, кроме моего дяди с тётёй, её родители. Я был пятым в комнате. Тётя Лиза меня очень любила. Она была ещё без детей и хотела меня забрать на воспитание у моей мамы. Решили попробовать. Я же был ясельным ребёнком. А тут летний перерыв между яслями и детсадом.

Мама, видимо, к ночи ушла домой. Мы жили на другом конце улицы, за три километра. Всё было хорошо, и я был всем доволен. Потушили свет, все легли. Глубокой ночью в абсолютной тишине проснулся и вижу в большом окне в свете фонарей вершины раскачивающихся акаций. Это напомнило мне ветви акации против наших окон, у нас дома. Но это были какие-то чужие мне акации, и окно чужое. Стало очень грустно. Вспомнилась мама. Мне очень захотелось к ней, домой. Я сразу начал басом громко ныть:

– Хочу домой... Хочу домой!.. Хочу к маме! – повторял я с небольшими паузами.

Всех разбудил. Меня стали уговаривать поспать, а утром отведут к маме, сейчас, мол, поздно.

– Хочу домой!.. Хочу к маме!.. – я оставался глух к уговорам.

Хорошо помню при этом картину в окне, моё неуправляемое желание и повторение мной в одном и том же тоне двух фраз.

Спать никто уже не мог. Было решено отвести меня до-

мой. Дядя Яша меня предупредил:

– Пойдёшь пешком, трамваи не ходят, три часа ночи!

– Хочу домой!.. Хочу к маме! – ныл я басом.

Дядя Яша оделся, одел меня и повёл в три часа ночи по улице Малой Арнаутской от её западного конца к восточному. Я семенил рядом с ним, не отставая, не глядя под ноги и не спотыкаясь, без чувства усталости. Помню весь путь, каждый квартал и каждый перекрёсток. Впервые я увидел спящий, пустынный и безмолвный ночной город. Три километра пробежал, вошли во двор, тут я был впереди и вбежал на второй этаж по высоким ступеням всеми четырьмя, как таракан. Помню Яшин голос сзади:

– Галя, это мы. Принимай сыночка.

Добрался к маме, прямо к её лицу. Мама удивилась и обрадовалась:

– О! Ну, вы даёте!

Обняла меня единственной рукой. Больше ничего не помню. Спустя годы дядя Яша рассказывал эту историю с окончанием:

– Когда мы пришли, Санька тут же уснул на Гале, в одежде и в обуви. Когда мы сняли с него обувь, то ужаснулись. Носочки были в крови. Заглянул в сандалики, а там торчат гвозди.

И дядя Яша прослезился. Помню все события и всю дорогу домой, но никак не могу вспомнить, чтобы мне что-то в сандаликах причиняло боль.

Я всё это до сих пор хорошо помню, как будто это произошло со мной вчера. Это не признак хорошей памяти. Это признак больших и глубоких чувств и переживаний ребёнка. Учиться чему-то надолго мы начинаем с семи лет. До того память наша временна, коротка. Даже родной язык может быть забыт. Яркие эмоциональные впечатления фиксируются надолго потому, что являются необходимым опытом в дальнейшей жизни. Например, полез куда-то, слетел, сильно поранился – запомнил, чтобы не повторять. Ребёнок может даже забыть о событии, забыть чей-либо поступок, но если это вызвало глубокое впечатление, обиду, то ребёнок пронесёт через жизнь плохое отношение к этому человеку, сам не зная почему. Некоторые матери пытаются приучить ребёнка спать в его собственной кроватке, в другой комнате или даже на другом этаже. Но среди ночи ребёнок просыпается, выходит в коридор или даже на лестничную площадку и, не открывая глаз, на весь дом повторяет басом:

– Мама!.. – Прислушивается и снова: – Мама!.. Мама!..

Так ребёнок учится не отдельно спать, а учиться равнодушию к маме. Он ощущает себя брошенным в одиночестве. Ребёнок привыкает обходиться без мамы. Пуповина не отрезается при родах, она становится другой, невидимой энергией связи. Порвать её – делать ребёнка сиротой, который обречён на вечный поиск замены матери. Я всё это пережил в себе и вижу: то же самое с другими повторяется. Поче-

му? Потому что матери хотят работать наравне с мужчинами. Зря, что ли, два университета за плечами? Это – издержки эмансипации женщин.



На фото видно: у мамы нет правой руки. Рукав спрятан в карман кофты. Культия скрыта за моим плечом. Мама не мо-

жет обнять сына.

Припоминаю, пришёл как-то к нам дядя Яша с каким-то парнем. Он рассказал бабушке и маме, что это его фронтовой товарищ, спасший ему жизнь. Была атака при наступлении, было очень много раненых и убитых. Они оба раненые оставались лежать. Немцы не давали никого забрать, обстреливали. Товарищ был легче ранен и мог ползти. Ночью он вытащил совсем обессиленного Яшу к своим. Они оказались в госпитале и долго лечились.

Все стали рассматривать фото из госпиталя и после. Я залез на табурет и тоже посмотрел. Два бойца с медальками на груди улыбались.

Бабушка вытащила из шкафа, с полки с вещами аккуратно сложенный костюм довоенного времени и положила на середину стола. Это был тёмно-серый байковый спортивный костюм с двусторонним начёсом, с пуговицами. Он был ещё уложен на фабрике до войны. Все его потрогали на качество. После всех потрогал и я, потёр между пальчиками. Ткань была очень мягкой и, наверное, очень тёплой. Бабушка рассказала, что это совершенно новый, ни разу ненадёванный дедушкин костюм, который он получил в подарок от... Бабушка замялась: «От артели биндюжников», и усмехнулась. После известия о гибели деда при обороне Одессы она собрала вещи и детей, и помчалась на вокзал. Последние поезда забирали в эвакуацию семьи ополченцев, оборонявших город.

Бабушка прихватила и этот костюм для сына. Но Яша отказался такое носить. Дескать, некуда.

Потом все пили красное вино гранёными стаканами, ели картошку. Нам с бабушкой дали только картошку. Яшка увёл гостя на кухню-прихожую и тот переоделся. Тут все увидели впервые дедушкин костюм «надёванным». Бабушка сидела на стуле, всплеснула руками и молча закрыла ими лицо. Она так плакала. Я стоял рядом и смотрел на неё. Бабушка вдруг крепко обняла меня и прижала к себе. Но мне больно не было. Мне было тепло и уютно. А бабушка тихонько раскачивалась со мной и всхлипывала. Я вырос, и бабушка мне показалась очень маленькой, и я подумал: «Каким же маленьким я был, чтобы эта маленькая женщина казалась мне большой?»

В детстве я был очень серьёзным и плохо управляемым. Но главное – неблагодарным эгоистом. Несмотря на это, моя мама называла меня Санечка. Зато её младший брат, мой дядя Яша, называл меня Барбос. Мне было это неприятно, но чувства своего я не выказывал ничем. Почему он мне тогда не объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо? Конечно, я стал бы другим. Но он только сокрушался, но ничего не был в состоянии сделать со мной. Бабушка ему пожаловалась, что я ничего не ем. Яша взял меня на руки, улыбнулся и весело сказал: «Барбос, рубай компот! Он жирный!» Меня это рассмешило, но лучше кушать я не стал. Из-за войны

Яша не учился, а в 1943-м сбежал от своей мамы на фронт, соврал, что ему почти 18, хотя было только 16. Дядька был как атлет – не по годам крепок. Комиссары были рады и забрали добровольца. После ранения в живот он долго лечился в госпитале. А после войны и госпиталей какое могло быть образование? Оклемался и стал работягой.

Однажды мама попросила его на меня повлиять. Он пришёл, взял ремень, шлёпнул разок и «повлиял», да так, что я молча пнул ногой рядом стоящее на стульчике ведро, полное питьевой воды. Яша обозвал меня Барбосом, схватил тряпку и стал собирать воду с мужской неловкостью. А я продолжал в молчаливой надутости, не проронив слезы, сидеть на своём табурете посреди озера. На том педагогическая поэма закончилась. Больше Яшу на работу с молодёжью не приглашали.

Годами позже, когда я подросток и плохо учился, дядя Яша отвёл меня к себе на работу, в подвальный цех, где он никелировал кровати. Это было совершенно мрачное, в ядовитом пару сырое помещение с ваннами из сваренной листовой стали для гальванического никелирования. Долго в этой ядовитости находиться я не смог и выбежал из подвала. Яшка вышел следом и сказал:

– Не будешь учиться, Барбос, будешь здесь со мной работать.

Мама называла меня всегда, во все времена, с моего рождения и до своей смерти, Санечка. Вот такое совершенно противоположное образное восприятие меня дядей Яшей

и мамой Галей. Я не люблю, когда до сих пор некоторые позволяют себе называть меня Санечка, Санёк. И всё же терплю, ведь так называла меня мама.

На трамвае №17 мама привезла меня в детский сад в Кирпичном переулке, за Одесской киностудией. Трамвайный путь проходил по Пролетарскому бульвару. Теперь тот Пролетарский бульвар вернул себе дореволюционное имя Французский. По нему трамвай торопливо убегал с затихающим вдали стуком колёс, укатывал куда-то в зелёную, тенистую даль, в сказочную и загадочную Аркадию. Уже тогда слово «Аркадия» у меня ассоциировалось с раем. Красный трамвай оставлял нас с мамой на остановке у переулка. Переулок мне сразу понравился. Он запомнился весь в зелени над кованной оградой между колоннами красного кирпича. Двухэтажное здание детсада пряталось в сплошной тени крон деревьев, кустов сирени и роз. Всё это было, определённо, дореволюционной дачей какого-нибудь одесского капиталиста. Всё, что могли хорошего сделать большевики, это, отобрав построенное до них, передать детям. Всё остальное... Даже дорогу в космос они проложили через Колыму.

Детсад стал моим домом на четыре года с выходными по воскресеньям.

Меня удивляло, что вся эта живопись красивого переулка не упиралась в другую улицу или дома. Переулок просто обрезался очень светлым небесным сводом. Там, как позже оказалось, был обрывистый косогор с тропами, ведущи-

ми прямо вниз, к морю, к «самому синему в мире Чёрному морю». Нас иногда, в хорошую погоду, выводили группами к косогору, с высоты которого раскрывалась панорама нашего бескрайнего Чёрного моря. Я не мог понять, почему такое лазурно-голубое море, иногда даже дымчато-туманное, сливавшееся у горизонта с небесами, имеет такое мрачное название. Объяснение было простым: нас никогда не выводили к обрыву в непогоду.

Оказавшись в круглосуточном детском саду, я стал проявлять уже более определённый интерес к девочкам. В их детских формах я угадывал женственность. Я был к ним совершенно равнодушен и не стеснялся при случае обнять какую-нибудь за талию, но потаённая интеллигентность потомственного биндюжника всегда удерживала, чтобы не взяться за попку. Возможно, потомок морского офицера сдержанного Севера переиграл во мне потомка решительного биндюжника Юга.

В те времена субботы были ещё рабочими, а рабочие недели – шестидневными. Помню, по понедельникам мы с мамой проезжали на трамвае №17 мимо Одесской киностудии и на следующей остановке сходили. У мамы был служебный проездной, потому что она работала доставщицей телеграмм. Это всё, что могла делать женщина без правой руки. Помню, как однажды я впервые сам спрыгнул с последней ступеньки вагона, развернулся к маме и увидел перед глазами рукав её синего пальто. Чтобы не потеряться, я зажал

его в кулачке, но рукав стал вдруг упрямо выдёргиваться, и в нём оказалась рука! Настоящая, живая рука с маникюром! И в это время я услышал сзади голос мамы: «Санечка! Я здесь!» Я поднял голову и увидел над собой незнакомую улыбку. Это была не мама. Потом оглянулся. Позади стояла мама. Обе женщины были в почти одинаковых синих пальто. Но было одно важное отличие: у мамы рукав был пустой, и я быстро его перехватил. С того момента я стал внимательнее.

По субботам меня забирала бабушка. Но у бабушки никогда не было тридцати копеек на трамвай. С удовольствием топал я с ней пять трамвайных остановок до Малой Арнаутской, хотя уже с половины пути ныл, что ножки устали. А у бабушки так никогда и не было тридцати копеек на трамвай. Конечно, она сэкономила на продукты. Совсем не по годам ослабленная, ссутулившаяся, маленькая бабушка сажала меня «на коркоски», то есть на шею, или я забирался к ней на спину, и она несла меня домой, как мешок картошки или угля. У бабушки был тяжёлый невроз после потрясений в войну. Она потеряла всех близких и дальних родственников. Из большой семьи, состоящей из троих детей и её с мужем, остались лишь она, искалеченная дочь и раненый сын. Каждый пережил Вторую мировую войну со своими ранами и рубцами. Кто на теле, кто в душе. Об этом я узнал позже, когда вырос. Но тогда, в детстве, на себе я ощущал лишь преданнейшую и безграничную любовь бабушки Евы. Мне было разрешено всё что душе угодно. Слова «нельзя»

я не слышал.

Бабушка Ева на мне одном выразила всю свою любовь. На свою молодую и красивую, но искалеченную дочь она смотрела с жалостью и болью. Я не помню её смеющейся. Она была всегда подавлена. Однажды мама мне сказала, что бабушка до войны была совершенно другой, боевой и весёлой. А в семье был морской порядок. Её слушался даже большой, добрый, но строгий мой дедушка. У бабушки был ещё один, младший сын Сеня. Ему было семь, когда перед войной его раздавил грузовик, прямо у ворот двора. Для бабушки я был возвращением к жизни. Бабушка играла со мной, что-то рассказывала, очень часто о войне, о исчезнувших родственниках, иногда замолкала и плакала.

От дефицита бумаги или от тяги к граффити я рисовал на белоснежно-голубоватых стенах нашей лачуги чёрным карандашом какие-то женские образы с большими глазами и тонкими талиями. Рисовал собак и кошек, танки, пистолеты, ружья. Очень любил ружья рисовать. Бабушка увидела и сказала, что она старалась, белила, чтобы я жил в чистоте. Я помню это очень хорошо. Навсегда прекратил рисовать на стенах, нигде и никогда, ни одной чёрточки. Вероятно, с развитием моего организма перелистывалась во мне вся эволюция человечества, и в тот момент я был на этапе наскальных росписей первобытного дикаря. До сих пор во мне возникает отвращение видеть изгаженные негодями ещё недавно чистые стены домов, арки мостов и поезда.

Граффитчики – это больные люди с манией всё замарать. Самовлюблённые вандалы.

Каждый год весной бабушка белила стены известкой с синькой, и я помню своё восхищение этим цветом, чистотой и особым запахом известковой свежести стен. Решил как-то фиксировать свой рост по годам и спросил бабушку, могу ли я это делать карандашом на дверной раме, покрашенной белой масляной краской. Бабушка разрешила. Бабушка Ева не умела нормально читать. Она нигде не училась. Девочки в семьях биндюжников не учились. Она даже не знала, когда родилась. «Примерно в 1902-м, – говорила она, – на улице Мясоедовской». В царские времена девочек готовили только к замужеству и рождению детей, к заботе о доме, муже и детях. Мой дед был потомственным одесским биндюжником. Ну за кого могла быть выдана замуж дочь биндюжника! Конечно, за биндюжника. Дед привёл молодую жену в собственную квартиру, вернее – лачугу, в которой родился он сам и его предки. Тут родились моя мама и её братья. Тут родился и я, его внук, так никогда и не увидевший лица деда, потому что он погиб в 1941-м, а семья при эвакуации не забрала с собой пакет фотокарточек. Пришли оккупанты, и всё было сожжено. Лишь в 1992 году я пришёл в Приморский райвоенкомат, и мне подарили последний, случайно оставшийся экземпляр «Чёрной книги памяти» с полным списком погибших в боях за Одессу во Второй мировой войне. Там я нашёл моего героического деда. По-

этому эту книгу, последний экземпляр в военкомате, военком мне и подарил и выдал справку о гибели деда.

Только бабушка выносила за мной горшок. Мама не могла. Ни воды, ни канализации в лачуге не было. Всё приходилось выносить «в конец двора». Там для жильцов сорока квартир находился общий дворовый туалет в крошечной тьме и грязи. Сразу за входной дощатой дверью, как в свинарнике, открывался «зал» в полном мраке едва мерцавшей под низким чердаком без потолка «лампочки Ильича». Тусклая лампочка ничего не освещала. Она была лишь путеводной звездой. По левую руку были туалетные кабины, а по правую – сараи для угля и дров. Сараев я боялся больше, чем туалетов, хотя крысы были и там и тут. Одесса пережила несколько эпидемий чумы. Вероятно, крысы оставались на дежурстве.

Пока была открыта привешенная на пружине входная дверь в «зал», надо было привыкнуть глазами к сумраку и сориентироваться, где что. Дважды в год, перед двумя «парадными» праздниками Великого Октября и Первое Мая, в туалете производилась побелка. Едва видимые деревянные перегородки туалета были вечно в «запятых» от посетителей, упорно не желавших воспользоваться советской газетой с целью гигиены и порядка. Впрочем, почему я говорю «советской»? Всё равно других тогда не было. Для советских граждан, по-видимому, газета была святой, и ею подтираться, даже в темноте, было кощунственно. Люди боялись

и предпочитали «расписываться» в своей лояльности режиму говном на стенах. А как иначе можно такое свинство объяснить?!

Пол в туалете зацементировали и лампочку поярче повесили. Потом заасфальтировали весь наш двор. Жить стало веселей. Потом заасфальтировали улицу поверх булыжной мостовой. Пустили троллейбус. Провели по лачугам нашего двора радио, и мама принесла радиоточку. Шли годы, и мама купила телевизор. Я сразу увидел прямую трансляцию похорон президента Кеннеди. Стали проводить водопровод и канализацию по квартирам. Всё это происходило с годами, пока я рос и вырос, и параллельно росла и развивалась советская инфраструктура. В те годы появилась повсюду и туалетная бумага. Её так долго и с нетерпением ждали, что правительство по чисто идейным соображениям стало перевыполнять планы по её производству. Возникло перепроизводство, то есть кризис, о котором мы узнали по колбасе. Не знали, куда бы её ещё засунуть, и вложили в «Докторскую» колбасу! Но лачуги так и остались лачугами, «хижинами дяди Тома». В 1992-м я воспользовался переменами – исчезновением Союза нерушимого – и вернул лачугу в собственность семьи, но тут же нашу фамильную родину продал.

Больную и стареющую маму я забрал с собой на другой берег того же Чёрного моря, куда грозно подступает Северный Кавказ. Именно на Северном Кавказе, в Махачкале, моя мама на производстве в 1941 году была навсегда изувечена.

А лачуга наша в обычном одесском дворе стоит до сих пор и неизвестно сколько веков ещё простоит памятником девятнадцатому веку и «совку». Хотя уже давно пора быть снесённым всему этому лагерю для беженцев из Европы в царскую Россию.

Наша лачуга была мала, но жилищный вопрос большевиками никак не решался. Лишь позже он стал решаться самими гражданами, сообразившими оговаривать соседей и друзей в органах безопасности, что привело к массовым арестам миллионов, а также выселением недобитых советской властью народов. Для начала нашу лачугу конфисковали, национализировали. Но на этом роль нового хозяина закончилась. Маленькие люди приспособивались в своей бедности.

Так вот, если ближе к теме, пока я был маленький и в круглосуточных учреждениях, мама брала на квартиру в учебный сезон студенток из кулинарного училища. Одна мне особенно понравилась. Обычно мне очень нравились мои маленькие сверстницы. Но эта девушка была исключением. Это было ещё до школы, когда я влюбился в одну нашу квартирантку с именем кошечки – Нюра. Её чистый ровный голос, её красивая правильная украинская речь меня завораживали не меньше её карих глаз, улыбки и талии. Помню, как она снисходительно улыбалась, когда я на неё пялился.

Из села в Одессу учиться её привёз отец. Это мне понравилось, что с отцом. Видимо, я уже предпочитал определённую в отношениях. Однажды в воскресенье (дома я бы-

вал только по выходным, а выходным был только воскресный день) я не выдержал и признался маме в своей любви к Нюре и планах когда-нибудь на ней жениться. Мама рассказала Нюре, и они вдвоём решили со мной поговорить. Но Нюра была очень педагогична и просто пообещала мне, что она дожждётся, когда я вырасту и мне будет лет 20, – тогда будет иметь смысл нам пожениться. Я прикинул, что ждать придётся очень долго. Но Нюре я поверил и согласился.

Я всегда верил той, в кого влюблялся. Мы с бабушкой спали на кухне на раскладушке. А Нюра спала в комнате, где и моя мама. Я привык к Нюре, она жила со мной в одной семье. Ну чем не жена?

Отец Нюры был крепкий, рослый и добрый ко всем нам. Он обнимал меня и сажал к себе на колени. Нюра меня тоже любила, как и я её, потому что она меня часто обнимала и целовала. Но я не помню, чтобы я сам осмелился её где-то потрогать. И уж точно не целовал. Но очень хотелось. Так, сидя на горшке, во мне – внуке биндюжника, зарождался джентльмен.

Мне хорошо запомнилось, как Нюра разговаривала с отцом. Она обращалась к нему на «Вы». Я спросил: «Почему?» Нюра ответила: «В Украине такая традиция обращаться к родителям на «Вы».

Позже мне пришлось убедиться в этом много раз.

Потом меня отправили в первый класс школы-интерната, и я появился дома только через год. К тому времени Нюра

закончила свой техникум и готовилась уехать с папой в село. Отец Нюры устроил нам прощание. У меня была, очевидно, очень печальная морда. Видимо, понял, что это прощание навсегда. Нюра притянула меня к себе за руку и поцеловала. Все как бы ждали этого и одобрительно засмеялись. Но на моей щеке долго оставался её поцелуй. Это была моя вторая настоящая любовь. Я не страдал перед разлукой. А о чём жалеть, когда мне пообещали выйти за меня замуж? Нюра оставалась в моих воспоминаниях живой и реальной, как и сейчас, абсолютно незабываемой. Что было после, мне не запомнилось. Нюра как будто растворилась.

Выбор мой всегда был очень простым – лицо и талия, переходящая в красивые параболы упругих опуклостей. То, что у женщины болтается двумя гиперболами под хорошеньким личиком, меня мало интересует. Это лишь ориентир, как маяк для капитана в ночном море в непогоду. Капитан держит курс, ориентируясь на маяк, но к нему никогда не приближается и тем более не пристаёт. Не для того маяк. Мять в страсти грудь – не моя слабость. Тем более я знаю, что это может повредить здоровью женщины. Я своё уже оттискал во младенчестве. Теперь пришла пора осваивать объекты поважнее, попышнее, твёрже и круче. Тут, кроме пользы и удовольствия, никакого вреда. Каждому возрасту – своё удовольствие, как каждому фрукту – своя ваза.

Как чудесно создан человек – он создан неполноценным! В нашем далёком от совершенства и даже во многом урод-

ливом мире обнаружить или встретить совершенство, гармонию или идеальность невозможно. Конечно, к этому нужно стремиться. Но если вы перфекционист, ваше стремление будет часто наталкивать вас на скалы разочарования и отчаяния. Брякнул же как-то в отчаянии хитро-мудрый Лис: «Нет в мире совершенства». Так вот, мы – мужчины – первое тому свидетельство. Мы несовершенны уже в том, что с детства не можем обойтись без второй нашей половины – без женщин. *«Без женщин жить нельзя на свете»*, – слова из лёгкой оперетты, но как научно-демографически глубоких их смысл!

В детском саду за Одесской киностудией во мне пробуждались вполне реальные чувства к женскому образу. В женских фигурках я уже разбирался. Талия, вид сзади – это всё, что выделял мой неокрепший мозг из окружающего человечества. Но, чтобы решиться жениться, нужно было радующее глаз и душу приятное сочетание: личико, голос, улыбка, глазки, волосы, руки и... и присутствие! Да, мне необходимо было присутствие женщины. Я был рано лишён контакта с матерью. В этом и скрывались две причины тяги ребёнка к женщинам: все прекрасны, но только одна из них меня родила.

Эгоцентризм в природе детей, но в разной степени. Это всё же форма проявления эгоизма, который, в свою очередь, имеет своим истоком инстинкт самосохранения. Не поставишь себя на первое место, так и сохранять будет нечего.

Другие затопчут.

Мне запомнилось моё равнодушие к близким. Это было связано с тем, что меня отдали на воспитание коллективу в круглосуточные ясли. Я отвыкал и отвык от матери и бабушки, которые должны были работать, чтобы за нищенскую зарплату прокормиться самим и прокормить меня.

Воспитательница в детском саду была старая – лет тридцати. Я до сих пор оцениваю возраст женщин очень субъективно. Это зависит от того, как женщина себя преподнесёт. Ох, они это делать умеют! Да, так вот, её звали Валентина Фёдоровна. До сих пор я сохранил в памяти её лицо с ямочками на щёчках, её голубые глаза. Она была очень темпераментная и жизнерадостная, говорила с нами по-украински, когда и по-русски. Очень любила и умела танцевать, и, наверное, не только украинский Гопачок. Помню, по праздникам мы репетировали, и она так задорно, весело танцевала. Она легко парила по кругу мимо нас, перебирая как бы по воздуху красными черевичками, разведя ладони в стороны и складывая их вместе на груди, со звонкими выкриками: «Гопа!» Играл аккордеон. Я держал ручки на поясе, пританцовывая на месте, готовый броситься вслед несущейся по кругу жизнерадостной красавице. Меня сдерживал страх не быть как все. Все дети расступились и прижались к стенам, к стульям по периметру большой комнаты. А она неслась как будто не касаясь пола. Я был влюблён в Валентину Фёдоровну, в Гопак, в Украину!.. Поэтому навсегда запом-

нил её имя.

Нас одевали в украинские костюмы и учили танцевать Гопак. На меня надели красные шаровары, белую вышиванку, и был я подпоясан широченным красным поясом. Вот я тогда гордился! Но на самый праздник моего пояса при переодевании не оказалось, как и вышиванки. Всё это отдали другому пацанёнку, который лучше меня танцевал. Я расстроился и, по-видимому, предъявил серьёзные претензии, потому что персонал забегал и мне нашли в каком-то чулане красную плетённую верёвочку и сказали, что это русский кушак. Я держал его в кулачке и перебирал, ощупывал, как моя бабушка огурец на базаре. Это был настоящий шёлк, плотная скрутка с узелками на концах. Украинскую вышиванку тоже заменили на русскую рубаху с узенькой красной полоской там, где у украинской вышита широченная щедрость красок. Но пояс!

Я им пояса не мог простить. Носил что дали. Станцевал как сумел. Как легко можно всё омрачить. Вот так за маленькими неприятностями скрываются большие огорчения. А я так любил Валентину Фёдоровну и этот садик – и посчитал, что меня предали. Ну не поговорили с ребёнком. Отшвырнули, пренебрегли. Некогда было. Думаю, если бы она присела рядом и взяла меня за ручку и попросила меня её понять, я бы понял и осознанно уступил. Считаться с ребёнком, воспринимать его как равного и по возможности понимать нужно с самого малого возраста.

Для моей бабушки Евы я был единственным, что удерживало её на этом свете. Она была изранена войной насквозь, лишена всего того, что составляет смысл жизни женщины, — семьи. Бабушка была безграмотной и без профессии. Пенсию она не получала. Хотя бы за деда, павшего за родину. Нет. Она была безграмотна, трудовую книжку не заводили. Перебивалась временной работой. Поздней холодной осенью уезжала на заработки, обычно на пару недель, в колхоз под Одессой — на уборку кукурузы или свёклы. Она мне как-то пожаловалась, что была домохозяйкой, потому что мой дед запретил ей даже помышлять о работе. Ему нужна была жена дома. Дед работал с рассвета до заката. С годами я понял, как архаичны мужчины, и как я их понимаю. Ведь сам стал таким. Семейственному мужчине нужны надёжно прикрытые тылы. Дома должна оставаться любимая женщина. Она должна, не покладая рук и ни разу не присев в «четырёх стенах», его ждать.



1953 год. В детском саду. В украинском наряде.

Хорошо помню мою учительницу с третьего по пятый класс – Людмилу Юрьевну. До сих пор я с лёгкостью, ясно себе представляю, как будто это было вчера, её лицо, большие светло-зелёные глаза и выдающийся нос. Я помню, как она нас, всех детей класса, пригласила к себе домой куда-то за город, но поехало немного, человек десять из тридцати. Мы ехали долго-долго на трамвае вдоль полей и белых хат

до конечной. Пили у неё чай из разных стареньких чашек и битых кружек, что говорило о бедности. В этом у меня уже был личный опыт.

Домом учительницы была уютная, небольшая и аккуратная сельская хатка в садочке с криницей. Отец Людмилы Юрьевны, радушный пожилой мужчина лет сорока пяти, встретил нас у калитки и привёл в дом. Мы увидели нашу любимую учительницу сидящей за большим письменным столом, аккуратно заваленным тетрадками и стопками книжек. Перед ней лежала одна из наших раскрытых тетрадок, освещённая высокой настольной лампой. Мы вошли, обступили Людмилу Юрьевну толпой и поздоровались. Она положила локоть на подлокотник и радостно улыбнулась. Это был храм моей учительницы. Я до сих пор ясно ощущаю воздух, свет, обстановку и посреди всего – учительницу.

Людмила Юрьевна была совсем, ну вообще не сексапильной в моём представлении: с длинным носом, худощавой, угловатой в движениях, не фигуристой и даже плоской, как ни посмотришь. Но она была очень человеческой, она была педагогом и другом детей. Просто олицетворение добра. Её терпение с нами останавливало нас от баловства. За это я её любил и к ней тянулся. Мне хотелось учиться.



5-й «В» класс, школа №90, Одесса, Новый 1960-й. Слева направо: учительница Людмила Юрьевна, Саша Давидюк, Аня Рознерица и Аркаша Макурин.

Так вот, моя бабушка нашла у меня на этажерке моей собственной рукой созданные эротические рисунки – обнажённых красоток, а ещё стишки с весьма определённым содержанием. Мне ничего об этом не сказала и, возложив вину на школьное воспитание или неправильное воспитание в школе, отправилась в школу не столько разобраться, сколько навести порядок. Как назло, меня в то утро в школе не оказалось. Прогульщиком я был ещё тем. Не обнаружив внука в школе и не получив разъяснений, где это он болтается без учительского надзора, бабушка просто взбесилась от страха за меня. Она всё время опасалась за меня, помня гибель младшего сына. Возник нервный срыв, бабушка была разгневана и утратила над собой контроль. Сделав скоропелый вывод, она разбрасывалась оскорбительными опре-

делениями, не задумываясь о справедливости и последствиях для молодого педагога. Всё происходило в классе при учениках. Хорошо, что меня там не было. Я бы на месте от стыда и несправедливости сдох или выбросился из окна. Когда я появился в классе к третьему уроку, главных участников трагедии уже не было. Соученики смотрели на меня косо и даже враждебно. Одна из девочек, кажется, Инна мне в общих чертах тихонько рассказала, что произошло.



1956 год, Одесса. Первоклассник

Скандал перерос в личную трагедию молоденькой и невинной учительницы. Она была публично унижена, при всём классе моей необразованной и нездоровой бабушкой, обвинена во всех женских грехах и была вынуждена тут же уволиться. Больше я никогда её не видел, не знаю её судьбы. Совесть до сих пор мучает меня. Что могла сказать своим родителям любимая дочь в тот день, вернувшись посреди дня из школы в слезах и в истерике?! Для них это был конец света. Что она могла сказать, как объяснить?! Она любила детей. Настоящий педагог! Но разбитое не склеить. Всё равно получится разбитое. Это по моей вине расплатилась моя учительница своей профессиональной карьерой и психическим здоровьем! Каким она теперь станет педагогом? Кому она будет доверять? Напуганная и опозоренная. Я был причиной разбитой судьбы человека. Я дал моей бабушке повод, не представляя, какую лавину горя и страданий это за собой рванёт. Никто не учил меня рисовать голых женщин, и никто не запрещал мне это делать. Виновным во всём был я сам и мои близкие. До сих пор фантомной болью напоминает о себе та рана.

У людей разная степень устойчивости психики к стрессу. Формы реакций на стресс тоже очень разные. У кого-то, к примеру, стресс вызывает инфаркт миокарда, бронхиальную астму, язву желудка, а у кого-то – психическое опустошение и маниакальную депрессию вплоть до самоубийства, как у Офелии в «Гамлете». Также не в состоянии были вы-

держат глубоких психических ран ни сам Гамлет, ни король Лир.



В этих стенах учился по вечерам мой дед-биндюжник. А днём учились моя мама с моим дядей, но не доучились из-за войны. Учился и я. Все по очереди.

Бабушка сама была так побита жизнью, что её разум не выдержал тех трагедий, как не выдержал разум миллионов, переживших войны и гибель и искалеченность близких и дорогих людей. Получилась цепная реакция передачи последствий горя одного человека на жизнь, на судьбу другого. Так война колесит по поколениям, кромсая новые судьбы. На одной мемориальной стене памяти в Германии, посвящённой двум мировым войнам, начертано: «Мы искали и искали, но так и не нашли последнего». Жертвы войны – это не только павшие в боях, это – и искалеченные физически

и психически. Им нет числа. Война прокатывается по всем.

Я осмыслил себя в том трагическом эпизоде и понял, что меня самого это так потрясло, что тогда я стал в поведении неуправляемым. Я стал плохо относиться к бабушке, совершенно не слушался, избегал общения с ней. И ко мне отношение соучеников стало очень холодным, до враждебности. Порвалась дружба, я стал чужим среди своих. Слухи вышли за школу, и появились «поборники справедливости», местное хулиганье, поджидавшее меня после школы, чтобы отомстить за училку, которую они и не знали, но руки у них чесались. Один раз меня защитил старшекласник. А со второй попытки я получил по зубам. Поэтому, видимо, педсовет вынужден был перевести меня в параллельный класс в надежде, что я начну новую жизнь в новом коллективе и всё во мне «устаканится». Это как будто постепенно удалось.

Вскоре навел нас мой двоюродный дядя Миша, аспирант-журналист из МГУ, со своей супругой, домашним педагогом Лилией, тоже выпускницей МГУ, и четырьмя дочерями. Они как раз и как назло приехали навестить Одессу и нас. Меня дома не было. В выходной я, как обычно, весь день до самого вечера в одиночестве болтался по моей любимой Одессе. Скорее всего, моя бабушка сдала и ему мои рисунки, конечно, с вопросом: «Что с ним делать?» Там не было танков или ружей, не было окопов и блиндажей, там не было солдат. Там были совершенно голые женщины, как их видел в нарастающих грёзах подросток. Там были и мои

первые «тематические» стишки, плагиаты, какие-то романтические глупости.

Вечером «московский университет» не поленился нас снова навестить. Ведь шла речь о спасении души ребёнка! И перед моим носом зашелестели изящными телами рисованные девушки на утерянных мной страницах. Дядя Миша строго спросил сквозь проникновенные роговые, страшно близорукие очки: «Что это такое?!» Меня тогда уже можно было брать в разведку – я чистыми глазами соврал, что это не моё. Какие-то ребята мне просто дали посмотреть, я должен срочно отдать, но бабушка всё арестовала, а то бы я отдал уже давно. Молодые и праведные «нравоучителя» с целью улаживания конфликта сделали вид, что поверили, мирно попили чай и ушли.

Эффект, конечно, из этой маленькой трагедии был. С искусством живописи я завязал намертво и навечно. Описать могу, сфотографировать могу, подолгу любоваться могу. А нарисовать – нет. Что-то во мне отсохло. Этот эпизод трагично разбитых судеб постепенно стирается из истории человечества с уходом из жизни её участников. Когда уйду и я, исчезнут со мной и последние муки совести. Но мир продолжит заполняться снова и снова большими и малыми трагедиями, за которыми будут десятилетиями тянуться безутешные страдания душ.

Бабушка Ева иногда по выходным брала меня, ещё совсем малыша, на базар – на «Одесский Привоз». Она покупала

у «спекулянтков» какую-то частичку от курочки – иначе то количество купленного назвать нельзя. Эти бедные «спекулянтки» были недобитые и недовывезенные в Сибирь при раскулачивании украинские селяне из-под Одессы.

Вспоминая этих бедных, запуганных властью селян, бегающих по привозу с почти пустой чёрной сумкой, я проникаюсь глубокой благодарностью выкормленного с их помощью ребёнка. И скольких тысяч таких, как я? В их чёрных сумках на дне валялся желудочек от последней курицы или пулька от задавленного подводой петушка. Эти селяне выживали сами и давали выжить мне. Они вынуждены были врать ментам, когда их заловят при продаже, что просто показывали знакомой, что только что сами купили у каких-то спекулянтков для своего ребёнка. При этом сельхозпродукт как *«незаконно купленный»* конфисковывался, и дело не заводилось *«за отсутствием нарушителя правил советской торговли»*. Особую опасность представляли подосланные ментами тётки. Бедные спекулянтки стали физиономистами. Ошибка в выборе партнёра для продажи потрошков могла стоить свободы на пару лагерных лет.

Однажды, когда я уже подросток достаточно, чтобы заглянуть вместе с бабушкой в таинственную чёрную сумку, я своими глазами увидел нищенский кусочек обескровленного шматка курицы под условным названием «четверть». Наверное, это была сильно недокормленная четверть. Но сделка не состоялась – не сошлись в цене. Тогда я ел что-то другое. Го-

лодным я себя в детстве не помню. Потому что едок я был никакой и пищу в меня нужно было вдавливать, заталкивать, впихивать и встряхивать. Помню, кто-то хотел меня чем-то угостить. Бабушка говорила: «Да ему хоть золотые горы подавай, есть не станет». У неё был свой личный горький опыт со мной.

В детском саду приходилось есть разбодяженную манную кашу. Зато дома по воскресеньям я получал десертную тарелку молочной манной каши с кусочком растаявшего жёлтым озерцом сливочного масла и с ярко-оранжевым яичным желтком посередине, который бабушка тщательно размешивала. Каша становилась шафранового цвета и лоснилась от масла. Бабушка научила меня есть горячую кашу, сперва размазывая её для охлаждения по плоскому краю тарелки, чтобы собрать её ложкой. И так, размазывая, есть. Было очень вкусно. Я помню и вкус каши, и то, как блаженно на меня смотрели бабушка и мама, сидя рядом с обеих сторон. Меня садили на маленький стульчик перед табуретом, на котором на полотенце вместо скатерти стояла большая тарелка с кашей.

Я вырос. Приехав студентом на каникулы, обнаружил в посудном шкафчике ту тарелку. Это была не тарелка, а красиво разукрашенная тарелочка. И ложка была не ложка, а мельхиоровая, с узорами десертная ложечка. Они были приобретены на базаре ещё до моего рождения и предназначались для девочки. Потому что моя мама мечтала родить

себе помощницу. Ну какой помощник ей пацан? Так и произошло. Родился для одинокой женщины-инвалида никакой помощник – пацан, одни убытки.

Когда меня угощал кто-то (всё же считался я сиротой: без отца, и мать – «полчеловека»), то бабушка говорила: «Бери, пока дают». Или: «Дают – бери. А бьют – беги». Это запомнилось. Как-то днём шёл из столовой домой. Меня остановили четверо моих сверстников с нашего квартала. Вожак стаи встал против меня и приказал расставить ноги. «Так, – думаю, – хотят побить». Пока думал, получил удар в подбородок. Тут же всадил кулаком этому парню прямо в нос и раздал удары в обе стороны обступившей меня банде. Полилась кровь из носа вожака. Я дал дёру, как на самую короткую дистанцию. За мной гнались двое. Но не догнали. Тогда я понял, что являюсь чемпионом и по боксу, и по бегу. К 15 годам я уже освоил бокс, борьбу и лёгкую атлетику. Больше меня из столовой не встречали. Да и я стал поглядывать по сторонам. Жизнь учит осторожности. Вот милосердию бабушка меня не учила, не помню. Потому рос я эгоистом. Жутким эгоистом, вспоминая свои деяния. Грехов было так много, что упоминать все нет места, а рассказать об одном – значит скрыть множество. Нет, я не был жадным, никогда ни у кого ничего не отбирал и не подличал. Но не умел ни помочь, ни посочувствовать.

В третьем классе я влюбился в одноклассницу, в чудную девушку Аню Рознерицу. Она была отличницей, видимо,

от рождения. Послушной и обаятельной. Голубоглазая блондинка с нежными, правильными чертами и двумя косичками. Поначалу и я ей нравился. Но, как позже оказалось, я не был её достоин. Об этом откровенно мне сказал в седьмом классе староста класса Аркадий Макурин. (Мы втроём на одном фото – приложено.) «Макуша» был старостой того В-класса, из которого я был после скандала с бабушкой переведён в А-класс. На мой вопрос, придёт ли Аня на вечер танцев, Аркаша, староста её класса, ответил просто: «Ты её не достоин». Я верил Аркаше. Он зря не скажет. Сильно расстроился, но промолчал. Я не ожидал, что могу быть чего-то недостоин или что это могут мне так откровенно сказать. И действительно, я же нормально не учился, никем не воспитан, пропускал уроки, болтался по улицам или в зоопарке в учебное время. Я воспитывал себя сам, читая книги и просвещаясь научно-популярными журналами. «Да, – признался я себе, – Аркаша прав, я недостоин её».

Достойным оказался Генка Поляковский. Он остался с Аней в одном классе, и она привыкла к нему. После танцев пошли провожать наших девушек, и я наблюдал, как впереди шла эта сладкая парочка. Аня молчала. Во всяком случае, её услышать было нельзя, она говорила всегда тихим и нежным тоном. Рядом с красиво приталенной Аней шёл худой, как жердь, угловатый Поляковский и, размахивая руками, непрерывно о чём-то там громко распространялся. Я с ним не дружил. Считал его болтуном. Особенно после того, как

он меня поучал, как надо правильно ставить ноги при беге. Он поучал меня, человека, занимавшегося лёгкой атлетикой в спортивной школе! Жилистый Поляковский пробежал мимо меня на нестигаемых своих тощих ходулях, как Дон Кихот на Росинанте. Тогда я понял, что он демагог. Впоследствии эта сладкая парочка поженилась. Короче, он её уболтал. А в тот вечер, помню, мы как раз танцевали под финскую песенку: *«Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло»*. Я шёл сзади, уже не спеша и отставая всё дальше от болтуна с его подругой, повторяя про себя такие мудрые слова Владимира Войновича. Так я незаметно отстал от всех и свернул в переулок в сторону дома.

В шестом классе пришло время становиться нормальным пацаном. Мои товарищи по школе уже стали – они уже давно курили. Я оставался последним, кто ещё оставался ребёнком. Однажды после игры в футбол на школьной спортплощадке все встали в круг и распределили пачку сигарет с фильтром. Принёс, конечно, агент-распространитель. Цель – нас втянуть, и рынок контрабанды обеспечен. Сигареты были импортные – кажется, Pall Mall. Досталось и мне. На этот раз ломаться уже не стал. Взял сигаретку в рот, мне её подожгли, я затянулся и в этот момент заметил идущую за забором по улице мою бабушку. Закашлялся в едком дыму. Тут же затушил и спрятал сигарету в карман. Пришёл домой. Никого дома. Решил докурить на кухне у печки. Затянулся раза два-три... Думал, удовольствие какое получу, как

все наши курцы «кайфуют». Ни кашля, ни кайфа. Слегка за-тошнило. Об этом меня предупреждали. Потом, мол, привыкается. Но кайфа не было! Тогда зачем? Смысла не стало. Я вбросил сигаретку в печку и проветрил лачугу сквознячком.

Вечером пришли вместе бабушка и мама, и стало мне «веселей». После ужина мама говорит: «Санечка, вот бабушка сказала, что видела тебя возле школы курящим! Я ей не поверила! Мой сын не может курить! Вот скажи бабушке, что она ошиблась. Скажи». И я сказал: «Бабушка, ты ошиблась, я не курил». И мне стало страшно стыдно, что я соврал. У меня загорелись уши и запылало лицо. А мама продолжала: «Бабушка, мой сын никогда не врёт. Ты ошиблась, это был не он». Совесть меня чуть не задушила. Мне стало жалко бабушку. Признаваться было уже поздно. Но в своей жизни я больше ни разу не держал во рту сигареты, какие бы ни были для этого соблазны. А врать?!

Мне всегда кажется, что если я совру, то на моей роже будет написано: «Врёт», – и все это прочитают. Нет, ничто не наказывает так жестоко, как собственная совесть. Легко живётся бессовестным! Правда, им чаще по тюрьмам живётся. Совесть потерять нельзя. Она всё равно догонит и заму-чает.

Помню, влюбился я в одну девочку старше меня на класс. А звали её очень для меня романтично – Настенька Калафати. Вот её я точно не был достоин. Это была греческая богиня Одессы. Она и была гречанкой – наполовину. Описывать

её портрет, навсегда живой в моих глазах, нет никаких достойных слов. Она была так прекрасна, так умна и так добра!

Стоять рядом с ней, разговаривать с ней!.. Со мной что-то происходило. Происходило что-то такое, что не могло остаться незаметным. Это обратило на себя внимание моей учительницы Розочки. Она как-то мне наедине осторожно сказала:



Санечка Барбос в седьмом классе у катакомбы под Одес-

сой.

– Саша, тебе нравится Настя. Это слишком заметно.

Спустя пару лет, когда я уже стал студентом, Розочка, ставшая моим большим и настоящим другом на всю жизнь, меня как-то спросила:

– Саша, ты ещё помнишь Настеньку?

– Помню ли я Настеньку! – громко и с восторгом вспыхнул я.

Розочка тут же тихо добавила:

– Забудь. Родители увезли её в Канаду.

На этом детство моё закончилось. Я уже был совершенно другим человеком. Ни Санечкой и ни Барбосом. Другим. Но всё равно глупым, доверчивым и влюбчивым. И слава богу, что человек способен влюбляться! Однолюб, утративший свою любовь, обречён от горя и одиночества сойти с ума. Не нужно захлопывать своё сердце, как дверь ковчега. Не потоп же всемирный, не конец света.

# Перепись населения

В третьем классе я оказался в украинско-немецкой школе №90. Сразу подружился с Вадиком Турко и сразу был приглашён к нему домой. Жил он, как оказалось, на территории Лермонтовского курорта, в особняке в курортном парке санатория, у самой кручи над Чёрным морем. Его отец был управляющим курортами города Одессы и области. Вадик был младшим в семье. Были сестра и брат, заканчивающие школу. В семье была старенькая няня. Вахтёры на воротах быстро запоминали друзей Вадика и распахивали огромную калитку, завидев меня издали.

Вадик оказался очень добрым пареньком. Он всегда всё делал с улыбкой и разговаривал улыбаясь. Он никогда не смеялся громко. А я... по-моему, вообще не смеялся. Вадик был очень изобретателен на всякие проделки, чтобы себя и нас, своих дружков, чем-нибудь занять. Всем, чем угодно, кроме уроков. То мы бегали по кручам над морем, то со стройки на территории воровали карбид, запихивали его в бутылки из-под шампанского, что курортниками кругом разбросаны, подливали немного воды и затыкали пробками, ставили их вверх дном в уголок на «графских развалинах» – разрушенных временем зданиях курорта – и, придавив бутылку сверху камнем, успевали отбежать в укрытие в ожидании подрыва самопальной гранаты. Взрыв! Осколки пуля-

ми разлетались мимо нас. В эти секунды мы ощущали себя как на войне. А то, бывало, бегали к солярию подглядывать за загорающими голыми женщинами через заранее заготовленные Вадиком съёмные планки непроницаемой, но хорошо вентилируемой ограды.

Вадик знал, когда на курорте состоятся концерты гастролёров, и водил нас бесплатно. Так мы приобщались к искусству. А если детей не пускали, то он устраивал нас на каменном заборе летнего театра. Мы – это я и ещё один наш одноклассник, Колька. Однажды мы с этим пареньком из-за чего-то повздорили, и он меня обозвал «жидом». Впервые услышал это слово. По интонации, по взгляду на меня и обстоятельствам я понял, что меня оскорбили. Вмиг набросился на него и прибил его мордой к случайно под ногами оказавшейся ступеньке мраморной лестницы Колькиной квартиры. Вадик меня с трудом оттащил. Я в гневе выкрикнул бывшему другу, что в голову в тот момент влетело: «А ты хохол!» Вадик меня поправил: «Хохол – это я, а он кацап». Тогда я выкрикнул тот же расистский слоган с уточнением. Колька больше в нашей усечённой команде не появлялся. Так меня познакомили с моим полу происхождением.

С Вадиком дружить было не только интересно, но и сытно. Когда бы я ни прибежал за ним «погулять», всегда его мама с улыбкой сперва усаживала меня за столик на веранде и кормила пирожными с чаем. Его мама работала медсестрой в санатории. Вадика отца, полноватого мужчину с «ко-

*зацькымы вусами»*, я видел очень редко. Уж он-то был точно «*козацького роду*». Тогда я всех этих вещей не знал и считал себя частью «семьи единой». В моей семье никогда не было разговоров о чьей-либо национальной принадлежности. Старой и больной бабушке и однорукой одинокой маме было не до того.

Мне всё же не хотелось быть ни жидом, ни евреем. Я чувствовал себя легко уязвимым для унижений и оскорблений. Зато с Вадиком со временем становилось интереснее. Однажды, прогуливаясь по зелёным и остриженным аллеям санатория, я узнал от него, что такое физика. Слово какое-то странное, впервые услышал. И Вадик мне объяснил, что это наука о природе. Вадик черпал знания от своих старших сестры и брата. «Как хорошо иметь старших братьев и сестёр, – подумал тогда я, – можно и в школу не ходить, всё будешь знать». Но физика меня с тех пор очень заинтересовала.

Однажды к нам домой пришли очень прилично одетые молодые люди и стали записывать нас для переписи населения. Я услышал вопрос о национальности, и мама ответила: «Еврей». Так как слово «перепись» я понимал как возможность что-то переписать, то есть написать по-новому, написать иначе, то я вдруг спросил: «А можно меня переписать русским?» Я думал, что русские – это все, кроме евреев, которых можно оскорблять кому не лень. Всё, что я знал, это то, что быть евреем значит слышать оскорбление «жид». Са-

мо слово «жид» ничего не выражает. Оскорбляло выражение лица, ехидство или ненависть нееврейской рожи, от которой это словцо выскакивало. И вот я придумал такую отмазку. Все рассмеялись, кроме бабушки, которая меня очень любила и, видимо, сочла мой выпад предательством. Её любовь выражалась не в словах или поцелуях. Она, маленькая, щуплая женщина, носила меня, барбоса здорового, на шею по несколько километров, чтобы я не устал. Почему носила, а не возила на трамвае? Потому, что жили мы очень бедно и бабушка вынуждена была экономить. Каждый понимает любовь по-своему. Кто-то много говорит о любви и осыпает поцелуями, а кто-то молча носит на горбу любимого человека.

Я помню свои мысли, чувства и обстоятельства в том возрасте. В школьном буфете меня кормили только стаканом разбодяженного кефира, хотя стоял запах варёных сарделек, которые раздавали по каким-то спискам – видимо, совсем сиротам или с родителями без ног. Хотя и я был сиротой. Не только без отца, но матери моей была даже не половина. Я тогда так и подумал: мол, наверное, мне не дают сардельку потому, что я еврей и таких врагов, как Колька, полно. Но потом я услышал, что есть дети, которым ещё хуже, чем мне. Моя мама была инвалидом третьей группы, а давали сардельку детям инвалидов второй и первой групп. Я тогда задумался: а почему моей маме не дали вторую группу? Она же без руки и беспомощна! Но чувство несправед-

ливости, побуждаемое голодом, за каждым завтраком разбодяженным кефиром, со временем затихало в смирении.

Тогда, при переписи населения, я подумал, что моё решение учли и меня записали русским, потому что никто не сказал мне «нет», и вопрос больше не поднимался.

С Вадиком Турко мы дружили года три, пока наши судьбы навсегда не разошлись, растворились в миллионном городе. Одесса росла новыми районами. Семья Турко переехала, и Вадик после летних каникул не вернулся в класс. Он перевёлся в другую школу. Но всё же однажды, много лет спустя, когда нам было по 17, судьба нас свела ровно на две минуты. Я работал санитаром в травматологической клинике профессора Герцена. Как-то медсёстры радостно меня позвали в приёмный покой, где обо мне спрашивал один санитар «скорой помощи». Я спустился и обалдел от неожиданности. Передо мной стоял взрослый, но совсем с той же доброй и легко узнаваемой улыбкой Вадик Турко! Он расширился в лице и стал похож на своего отца. Вадик стал студентом медицинского института, куда даже моих документов для поступления под преступным предлогом не приняли. Мы всматривались друг в друга, молчали. Вадику надо было ехать. Больше мы не виделись. Я не вспомню в моём детстве другого такого человека, с которым было так просто и интересно дружить.

В 16 лет я получил свой паспорт гражданина Советской империи с пятой графой моей национальной принадлежно-

сти к великому еврейскому народу, о котором я ничего ещё не знал. Вообще ничего, кроме того, что за эту принадлежность меня могут оскорбить и мне придётся снова драться. Записали как будто специально для того, чтобы меня можно было притеснять и никуда вверх не пускать. Это меня огорчило. К тому времени я уже знал, что придётся жить трудно. Но не знал, что мог записаться русским, чтобы облегчить себе задачу на всю жизнь, ведь евреем я был лишь наполовину или даже на четверть.

Через год, уже работая на «скорой помощи», попытался подать документы в Одесский медицинский институт. Собрал всё по обязательному списку. Член комиссии глянул в паспорт:

– У вас нет комсомольской характеристики.

Документы не приняли. Пошёл в горком, райком – всё закрыто, все в отпуске. Кто-то из врачей «скорой помощи» подсказал, что всё это уловка, чтобы не взять документы. Это было противозаконное требование, поступали и не комсомольцы. Аттестат с оценками является единственной моей характеристикой. Дошло – то было простое «мочилово». Так я получил у чиновников чёрную метку – «еврей», хотя в себе еврея я не ощущал, хоть убей. Вообще я никого в себе не ощущал, никого! Я ощущал себя живым, просто живым – и всё.

Я сразу смекнул, что буду поступать в следующем году, но не на Украине, и мои знания должны быть выше –

не на пять, а на шесть баллов. Это был «еврейский проходной балл».

Я «закусил удила». Стал готовиться к экзаменам самостоятельно, после работы, по выходным. Все увлечения забросил, больше не шлялся по улицам любимого города или по зоопарку. Сидел за книгами. Физика, химия и русская литература – три кита, на которых я собрался отплыть в своё будущее. По воскресеньям (ещё с десятого класса) два года подряд бегал в Одесский университет на лекции по химии для абитуриентов.

Кроме учебников, я читал массу научно-популярных и литературных журналов. Регулярными были «Юность» и «Литературная газета». Прочитал роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» и стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Я был ошеломлён. Мне стало совестно.

*«Над Бабьим Яром памятников нет.  
Крутой обрыв, как грубое надгробье...»*

*«Мне кажется – я мальчик в Белостоке.  
Мне кажется сейчас – я иудей...»*

*«Я – каждый здесь расстрелянный старик.  
Я – каждый здесь расстрелянный ребёнок...»*

Когда я прочитал стихотворение бабушке, она сказала грустно: «У нас было очень много родственников в Белосто-

ке. Сейчас никого нет».

Я рос и всё больше осознавал, кто я, и мне становилось стыдно, что я от невежества и детской брезгливости к отверженным, из-за обид и страхов отрекался от своих еврейских корней. Мне впервые стало стыдно за себя, и я смирился с этой этикеткой.

Внешность моя была обманчива. Родился я совершенно белоснежным, как мне рассказала мама. Мама была смуглой, брюнеткой. Говорила мне, что отец был белобрысый, русые волосы. Это понятно, он был северным славянином. Евреи считали меня гоем, многие дистанцировались. Это они ещё не знали, что у меня в паспорте написано. А многие, кому хорошо было бы и не знать, знали. Вот как было в паспорте написано, так со мной и обходились.

Первые шаги в самостоятельной жизни меня убедили, что я теперь законный еврей и должен безропотно нести свой еврейский крест. Я нёс, и каждый раз при угрозе Голгофы отстреливался. Я ни перед кем не смалчивал.

В Казань, поступать в медицинский институт, я поехал в качестве еврея. Уже тогда догадывался, что еврейский вопрос со мной ещё окончательно не решён. И как в воду глядел.

# Прививка стекловатой

*Люди одержимы влиять на других, но при этом  
меняются сами.*

Что бы я в жизни своей ни выстраивал, всё давалось только с огромным трудом и испытаниями.

А началось всё это в школьные годы чудесные, когда меня и Вовку Ковальчука направили в летние каникулы поработать на одну из новостроек родного города Одессы. Был 1963 год, мы оба безуспешно закончили седьмой класс.

В этом наказании выразилась, наверное, воспитательная месть не за одну провинность, а за всё, что у них накопилось против нас в их учебном процессе.

Воспитывать меня дома было некому. Рос без отца. Мать с войны инвалид. Ну какое там воспитание? Одной рукой она и поймать-то меня не могла. А уж наказать – тем более. Вот так рос, предоставленный сам себе. Но не улица меня воспитала. Меня воспитала школа. Я был домосед, как называла меня мама. Она отбирала чтиво или что-то разобранное и выталкивала погулять. Я бродил по родному городу и полюбил его. Впоследствии сделал его героем своих фотосессий. Поначалу удивлялся: Одесса – красавица, а фотки – дерьмо. Разочаровался. Мои технические возможности тогда были очень далеки от моих запросов отображения кра-

соты. Во мне созрел перфекционист. Все свои увлечения, занятия и интересы я выбирал себе сам. Кружки и секции во все школьные годы я отыскивал, занимался по несколько месяцев и покидал.

Поначалу был я большим спецом по кропотливому и подетальному разбору будильников, радиоточек и электроутюгов, которые моя бедная мама молча заменяла на где-то приобретённые старые, но работающие. Я так разбирал, что собрать их обратно ни у меня, ни у мастеров уже не получалось. Став постарше, перенёс свою любознательность уже на сборку радио и на чтение научно-популярных изданий.

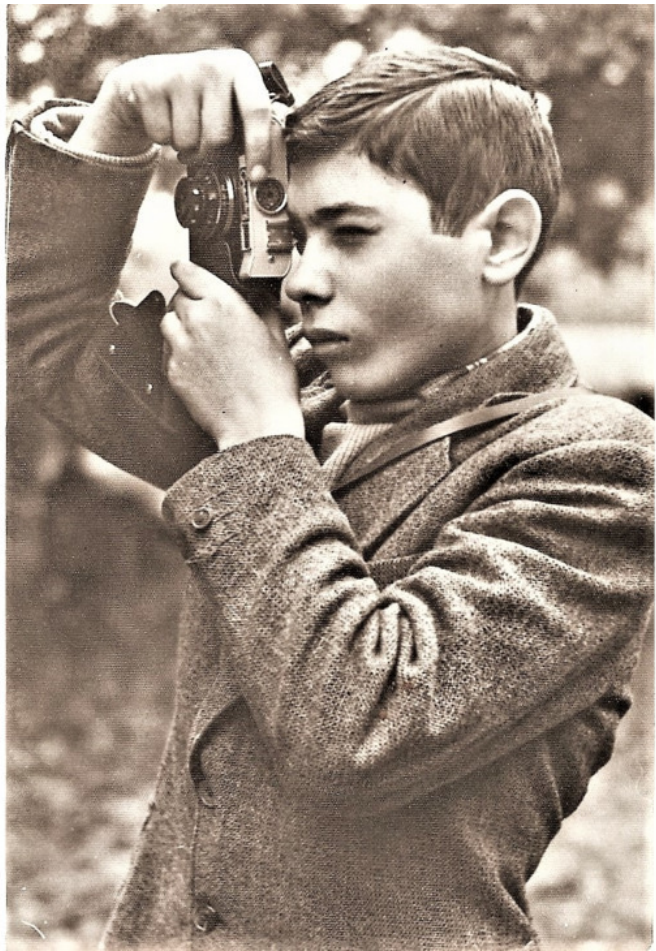
В результате безуспешных попыток закаливания и занятий спортом в разных видах я часто простуживался. Но я не сильно переживал, был даже рад, потому что мог целую неделю вылёживаться в постели, зачитываясь стопой периодики.

Став постарше, уже серьёзно увлёкся фотографией. Занимался в фото-кинолаборатории Станции юных техников. Сдружился по фотоделу с моим одноклассником Юрой Беликовым. Он для меня был знатоком фототехнических тонкостей. Юра был отличником, очень способным. Это тоже мотивировало меня к учёбе. Но и он был не без трагического порока. Если бы не его болезненное тщеславие! Аристократическая гордость была не оценена сообществом. Он, видимо, воспринимал себя одиноким белеющим парусом, который «просит бури, как будто в бурях есть покой». Юра уже

учился в институте, но не удержался – бросился на скалы наркомании и погиб. Видимо, он «хотел забыться и заснуть». Мы все были свидетелями этой трагедии, но ничего не могли поделать.

Изученное мной на Станции юных техников полвека назад полезно до сих пор, хотя фототехника уже перемахнула в другое тысячелетие. Во мне развивались чувства прекрасного и внутренней потребности что-то изображать. Развивалось и осознание необходимости изучения физики и химии. Одно тянуло за собой всё остальное. Образование меня затягивало. На уроках естественных наук меня очаровывали мироустройство, красота, строгость и обязательность законов. Но под вдохновение всё равно прогуливал школу с фотоаппаратом.

Школа наша была интеллигентна, гуманна и терпелива. Но терпению всегда приходит конец. Ну вот, чтобы нам с Вовой Ковальчуком жизнь мёдом не казалась, наш завуч Мотя, в миру Матвей Семёнович, мой любимый учитель истории и обществоведения, устроил нам перевоспиталочку тяжким испытанием.



1962 год

На его уроках я заслушивался оживавшим прошлым. Мотя заложил основу моего мировоззрения и отношения к обществу и истории. Он научил меня не смотреть, разинув рот, но видеть, взяв глаза в руки. Я был тот самый «имеющий уши». Учителя боролись за нас, чтобы мы выросли людьми и по дороге никуда не сползли.

Вспомнились слова моего дяди Яши при выходе из подвала никелировочной артели:

– Учись, Барбос! Смотри! Поздно будет! Ну-ка, попробуй, укуси локоть.

Я, тогда ещё младший школьник, упрямый двоечник, стоял перед ним, виновато опустив голову. Предложение оживило меня, наивного, и я сразу же попытался. Но, к моему удивлению, не получилось.

– Близок локоть, да не укусишь, – доказал мне истину наглядно и просто дядя Яша.

Прошло более полувека, и я, не боясь выглядеть смешным, как эстафету передал эту «мудрость» своему семилетнему внуку, драчуну в школе. Он самоуверенно попытался дотянуться до локтя, сразу понял и хитро улыбнулся: мол, прикол, дедушка!

Конечно, Мотя, кроме добра, нам ничего плохого и не желал, когда воспользовался своей дружбой с начальником строительного управления (иначе кто бы осмелился допустить детей на стройку?). Лучше бы его фронтовым товарищем оказался какой-нибудь управдом. Тогда мели бы мы за-

тенённые платанами или акациями тротуары любимого города всё знойное лето.

В Одессе стояла июльская жара. Хорошо было только у моря. Предстояло целый месяц работать. Нас поставили утеплять стекловатой трубы отопления. Трубы, стекловата и чёрная полиэтиленовая плёнка были по отдельности (не то что сейчас). Тогда всё это мы делали вручную, на ветру, под палящим солнцем, ковыряясь в бетонных лотках. И мы узнали тогда буквально на собственной шкуре, что это такое – стекловата.

Добросовестно отработав полный рабочий понедельник, кряхтя и охая, собрались домой. Одежду мы отряхнули, но надеть её вновь было невозможно. Всё тело горело, жгло, зудело и кололо, даже то, что, казалось, было скрыто в плавающих. «Врастопырку» и «враскорячку» добрались до трамвая. Долго ехали к морю стоя. Молчали. Что-то внутри нас менялось. Думали только об одном – смыть стекловату. Но в воде всё горело ещё больше. Нас знобило. Шли, широко расставляя ноги.

Миллионы невидимых иголочек весело искрились, но постоянно жестоко вонзались в кожу. Даже при лёгком прикосновении они втыкались ещё глубже. Ночь тянулась в бессонном мучении. Любое касание одежды или постели было нестерпимым. Утром в той же конфигурации тела и конечностей добрался я до «стеклотрассы». Вовка на объекте так и не появился (видимо, раньше меня понял, в чём прикол).

Едва шевелясь, продержался я до обеда, работал один, никто из «опекунов» не подошёл, и я слинял. Никто нас и не разыскивал.

Вы обратили внимание? Медсестра с такой заботой в глазах подходит к вам с прививочным шприцем, колет, отходит и сразу же теряет к вам интерес, можете натянуть свои трусы на место, свободны. Случай тот же. Штаны надень и валяй. Видимо, на стройке знали о нашей реакции на «прививку». Дело было сделано, вот и интерес к нам пропал. Они думали, что мы больше не появимся. Я их разочаровал своей наивностью и принёсся. Прививка стекловатой напоминала о себе ещё несколько месяцев, пока не обновилась кожа. В тот год море для нас виделось спасением. Ну а какой должна быть прививка? Конечно, долгоиграющей! Стеклообразные иголки засели и в одежде. Никакой стиркой или вытряхиванием избавиться от этого было невозможно.

За лето я заметно вытянулся, и одежда стала, к моей радости, непригодной. Всё же каникулы я провёл на берегу моря, постоянно болтаясь в воде. Свою дозу пожизненной прививки я получил. Эффект воспитательной меры был достигнут. Поведение стало блестящим, как стекловата. Гораздо лучше стал учиться. Володя тоже. Я вообще не мог понять, за что его на каторгу сослали? Ну, за что меня, я знал – ершистый и прогульщик. Да! И двоечник! Но Ковальчук!.. Он мухи не обидит, не то чтобы учителя или соученика, или там что-то сорвать. А что срывают пацаны? Уроки! Он запомнился

мне очень добрым парнем, без претензий.

Всегда весёлый, лишённый агрессии, рослый, ширококостный, белокурый, голубоглазый, улыбчивый славянин. Он напоминал мне правильностью черт лица и характера великодушного витязя из старины глубокой. В те времена он, наверное, им бы и стал, или каким-нибудь известным всей округе кузнецом. Фамилия его переводиться с украинского на русский просто: Кузнецов.

Я бы с ним дружил, если бы интересы совпадали. Судя по его «по-морскому» осипшему, охрипшему голосу, родился он моряком. Однажды на вопрос «Кем ты хочешь стать?» он гордо сказанул: «Матросом!», и Владимир Ковальчук впоследствии действительно стал моряком и проработал на морских судах до пенсии, вернее, до инвалидности (по слухам). Я, кстати, тоже, как и многие пацаны в Одессе, мечтал стать моряком, но потом как-то выяснилось, что я и море любим друг друга по-особому. Я знал границы нашей взаимности и за них не заплывал. Моя зона была береговая, стометровая и только вплавь или под водой. Мои отношения с морем определились после того, как я его просто отвратительно облевал, испортив всю рыбалку одноклассникам.

Однажды Эмик Рахманчик собрал нас по случаю окончания восьмого класса порыбачить в коллективе на лодке в море. Нас, отважных рыбаков, собралось шестеро. Иницировал эту рыбалку и арендовал лодку на причале, конечно, Эмик. Из-за меня и именно в разгар клёва ставридки, когда

меня стало выворачивать наизнанку, пришлось Эмику развернуть лодку к берегу, и пацаны, молча проклиная меня, рвали вёслами море. Когда я выпал у берега из лодки, они, глядя не на меня, но в сторону, стали отчаянно грести в сторону горизонта, чтобы догнать уплывшую стайку ставридок. Из той компашки пятерых отважных рыбаков лишь один Саша Финкельштейн остался до сих пор верен удочке, и его холодильник всегда полон рыбы. А я остался со своей неизлечимой завистью к тем, кого не укачивает в море.

Через год после той «прививки стекловатой» и накануне той рыбалки решались наши судьбы на педсовете: быть ли нам в школе в девятом классе, чтобы иметь возможность получить высшее образование. Нас сильно просеивали. Из трёх восьмых классов сделали два девятых. На треть сократили число учеников старших классов. Мне лично светили стройки грядущих пятилеток. Но очень хотелось стать врачом. Даже подписался на Малую медицинскую энциклопедию. Можно было бы, конечно, сначала и в фельдшерское. Но я был плохим стратегом и потому не рисковал затевать сложные партии с известными шулерами.

Не было надежды остаться в школе после восьмого с половиной трояков в табеле. Но неожиданно я оказался в девятом классе! Это чудо с балбесом было, конечно, рукотворным. Помню, как задолго до этого математичка Раиса Израилевна при всём классе, кивая на меня, сказала нашей «классной даме» Марии Ивановне: «Умная голова, да дураку дана». Хо-

рошо помню мою реакцию. Я подумал: «Умная голова – это про меня! А дурак? Это кто же? Тоже я?!»

Глядя на свою прожитую жизнь, думаю: так ведь это было тавровым клеймом. Я с ним и прожил. Сколько глупостей в жизни понаделал! Сколько ошибок! Сколько потерь! Сколько грехов! Наступает ночь – и оживают муки совести. Всё совершалось по этой формуле. Иногда задирали штанину, чтобы поглядеть, проверить, не сошло ли клеймо. Нет, оно не стирается временем. Мы остаёмся теми, кем родились. Обогащаемся знаниями, опытом, прикрываем свою животность этикетом, но дурь от рождения остаётся.

Так вот, лишь одна училка из всех присяжных заседателей педсовета – наша Розочка – настояла на том, чтобы меня оставили в школе, чтобы дать мне последний шанс. Тогда и после, в течение десятилетий не знал я, кто стоит за этим «шансом». Но шанс свой я не упустил. Закончив десятый класс с вполне конкурентным аттестатом, пошёл работать на «скорую» санитаром (опять же по благу той же Розочки). Этот благодать стал мне «путёвкой в жизнь». Уже на третий день после «выпускного бала» я работал. Испытывал себя на годность профессии. В первое дежурство фельдшер делал большим шприцем внутривенную инъекцию эуфиллина. Я ассистировал ему, держал руку пациентки и жгут для сдавливания вен на руке. Войдя иглой в вену, фельдшер потянул поршень на себя, и в раствор шприца вошла чёрным облаком венозная кровь. Я увидел такое впервые. Чувствую, у меня

темнеет в глазах, и я слабею. Я выпрямился, жгут на руке пациентки освободил и развернулся к двери, уже ничего не видя. В голове была одна мысль: «удержаться на ногах и выбраться на свежий воздух, у меня предобморочное состояние». Вышел к машине «скорой». Через несколько минут вышел доктор, за ним фельдшер с чемоданом. Доктор подошёл к машине, взялся за ручку двери, глянул на меня и с печалью в лице произнёс:

– Саша, Ты врачом не будешь. – и сел в машину.

Опозоренный, я решил силой воли удерживать себя от подобной реакции на кровь. От вызова к вызову мне на том же дежурстве удалось подчинить своей воле свои вегетативные реакции. Продолжал ассистировать фельдшеру при внутривенных процедурах и постепенно привык к виду крови. Конечно, я не стал равнодушным, но просто подчинил себе естественные реакции организма.

Кроме испытания себя на готовность стать врачом, была ещё одна причина не поступать сразу в институт. Это – моя недостаточная подготовленность к вступительным экзаменам. Нет, я был решительным, но осмотрительным. Таким вот чеховским Беликовым, человеком в футляре, им я и остался.

Кто-то из ребят всё же подтолкнул попытаться подать документы в этом году. Ну, в качестве тренинга. Согласился. Сходил, Надежды оправдались – документы не приняли. Не судьба. И тут я упёрся стратегическим рогом и решил,

что буду поступать где-то подальше от малой родины. Здесь меня объективно не оценят. Ну, ведь, хорошо же там, где нас нет. Но главное, стал интенсивно готовиться, причём самостоятельно, так как о репетиторах в той бедности даже мысли не возникало.

Через четыре месяца из-за холодов перешёл я на работу в стационар. Что мне очень мешало в подготовке к экзаменам, так это работа. Нет, работа мне нравилась. Особенно операции, перевязки, вскрытие трупов с персональным объяснением прозектора. Но мыть полы, выносить судна и утки из-под больных нравилось гораздо меньше (вру, совсем не нравилось). Нет, не подумайте, что из-за примитивности труда по уходу за больными или из-за нелюбви к больным людям, вовсе нет! Просто из-за отвратительного запаха, вернее, моей брезгливости.



Санитар Александр Давидюк во время ухода за больным после операции на позвоночнике. Одесса, 1967 год, клиника проф. Ивана Герцена.

Допоздна приходилось сидеть над учебниками, а по выходным тем более. Посещал лекции по химии при университете для поступающих. И так продолжалось весь год. Короче, взял не столько умом, сколько трудом и терпением (в просторечии – задницей).

Настало время выбирать вуз. Выбрал Казань, где мне уготованы были коварства судьбы и где шокотерапия жизни так и не излечила меня от наивности и склонности напарываться на неприятности или вляпываться в истории. А всё потому же, что «умная голова дураку дана».

Первое, что я сделал по прибытии в Казань, это два дела одновременно: сдал на пятёрки все экзамены и влюбился в голубые небеса её огромных глаз, в её светло-русые волосы, в стройность фигуры с приятными опуклостями и в её сияние непрерываемой радости и оптимизма (чем и наслаждаюсь до сих пор).

Но тогда в списках поступивших я себя не нашёл. Комиссия, хоть и с опозданием, всё же спохватилась и под «гибридным» предлогом – мол, я явился в нетрезвом состоянии – исключила меня из числа уже зачисляемых абитуриентов. Это произошло ровно через два месяца после Шестидневной войны Советского Союза с Израилем. Били тогда не по роже и не по паспорту. Били тогда по судьбе. Это был феномен нового времени. Меня охватило отчаяние, внутри взорвалось ощущение безвыходности и моей ничтожности в безграничном величии советской родины и преданного мной социалистического отечества, которое из-за таких, как я, оказалось в опасности! Зашевелились суицидальные намерения. Телеграфировал Розочке одним лишь депрессивным четверостишием Бальмонта: *«И покуда не поймёшь смерть для жизни новой, хмурым гостем ты живёшь на земле суровой».*

Тем самым напугал её и директора школы Владимира Петровича. Того самого учителя русской литературы, который воспитывал меня, безжалостно оттачивал мои литературные способности двойками по сочинениям. В отличие

от учительницы украинской литературы Екатерины Григорьевны, которая поднимала над классом мою тетрадь и возглашала о моём сочинении как о лучшем.

Часами бродил по улицам совсем чужого города, обдумывая способы безвредного для здоровья суицида. Потом успокоился, поостыл, взвесил и решил бороться. По сути, виной была «пятая графа», которую проспали блюстители чистоты расы. Дёрнуло меня сунуться в национальную мусульманскую республику Татарстан, сбежав из такой же зацикленной на «пятой графе» Украины.

Я представил себя со стороны: «Христос», повисший на кованой ограде института. Горем убитая мама. Панихида, и забыли. Нет, я хотел быть незабываем и потому с распятием решил повременить. Вернулся побороться.

Недовольный моей защитой со стороны юрисконсульта Тамары Аркадьевны Соколовой, ректор института Хамиф Сабирович Хамитов благодушно и откровенно выпалил ей при встрече: «Зачем вам этот парень из Одессы?! Мы взяли вместо него одного милого татарчонка!»

Впоследствии я узнал, что им оказался действительно скромный паренёк, который, став врачом, тут же сел за отстрел чужих коров.

Между тем, предстоял ещё месяц антисистемной борьбы за моё восстановление в правах. Я цеплялся за всё и за всех. Разослал телеграммы министрам, был в обкоме партии и комсомола, в редакциях газет. Но помогли мне по-

настоящему только два журналиста. Одного звали Евгений Ухов, второго не запомнил. Собрав за месяц против ректора материал по моему случаю, они явились к нему, оставив меня за дверью приёмной, и шантажом заставили его восстановить меня и справедливость. Ректору на стол лёг газетный проект с подробным описанием журналистского расследования по моему делу.

Тогда я сравнил своё положение с белой рубашкой, облитой чернилами. Рубашку уже ничто не сделает чистой. Помните: «А что там с ним было?» – «Да не то он обокрал, не то его обокрали».

Главное – цели своей я добился: стал студентом. Но доброго имени в институте я так и не вернул.

Позже узнал, что эту операцию со мной устроил секретарь приёмной комиссии доцент Ахмет Закирович Закиров. Ректор ссылался на него, когда говорил, что я явился в институт пьяный. «Ахмет Закирович коммунист, он не соврёт!» – повторял с пиететом Хамиф Сабирович.

Через полгода вышла заметка в журнале «Огонёк» в Москве. Как раз о нашем доценте Закирове, который не соврёт. Как оказалось, он сфальсифицировал документы, переписав на мужа сестры своих трёх детей, то есть усыновил при живых родителях. Муж сестры был лётчиком-испытателем с высоким риском погибнуть. Вскоре он действительно погиб. Естественно, вскрылся подлог, когда стали оформлять пенсию наследникам и получилось вместо двух детей пяти-

ро. Доцента Закирова от тюрьмы спасли, отправив врачевать в братский Алжир. Справедливость восторжествовала.

В это время приходилось мне втираться в новую жизнь. Средств не хватало. По выходным разгружал баржи на Волге и очень этим гордился: мол, как Алёша Пешков с дружкой Федей Шаляпиным на той же пристани!

Подкармливался репетиторством с отстающим студентом. По субботам вечерами за рубль выходил в массовках в оперном. Не во всём, конечно, как Шаляпин, но до подмостков оперного театра я всё же добрался.

Пришлось в летние каникулы работать в студенческих строительных отрядах. Стройка уже не казалась каторгой, ведь я был однажды привит стекловатой, да и окреп с годами. Участие в стройотрядах стало осознанной необходимостью, свободой выбора. Работа была изнурительной, на износ. Но когда видел, как на пустом месте возводилось что-то полезное, когда пересчитывал заработанное, то пережитые испытания как-то смягчались в памяти. Хотя ещё долго ломила ночами спина, зато уже никогда больше не жгло и не кололо стекловатой.

# Полёт в кокпите Ту-104

В августе 1967 года меня, бедного студента, сироту, перебросили «зайцем» в Москву лётчики Ту-104. Командир был отцом моей подружки детства.

В салоне свободных мест не было. Меня посадили на ступеньку в кокпите, впереди и внизу от пилотов. Весь полёт, около двух часов, обозревал прекрасную Землю сквозь стеклянный купол кокпита. Медленно проплывала планета под ногами. Было безоблачно весь полёт. Бескрайние массивы лесов, просторы разноцветных квадратов полей, города, деревни, реки, озёра, промышленные гиганты, дороги... Всё проплывало медленно где-то в глубине под нами в едва уловимых очертаниях. Если это – только одна полоска от Одессы до Москвы, то как себе вообразить всю территорию Советского Союза?!

Вдали, на горизонте, засветилась светло-розовая полоска. Она стала приближаться, расширяться, и возникла панорама приближения к огромному городу. Догадался: «Пора бы быть Москве».

Солнце склонялось к горизонту. Подумал: «Никакая она не белокаменная, она же розовая! Москва – розовая!» Приближение огромного города завораживает. «Неужели пролетим над городом?!»

Минутами позже самолёт накренился и стал уходить от го-

рода. Пейзаж под ногами и впереди стал зелёным, с бело-розовыми группами домов. Летим уже заметно ниже. Ниже. Ниже. Видна посадочная полоса вдаль.

Подлетаем на посадку. Так видят птицы место своего приземления. Всё ближе и быстрее мчится полоса под нами. «Так птицы не садятся», – подумал я и упёрся руками во что-то с обеих сторон.

Штурман откинулся в кресле и сложил руки, закончив свою работу. Я упёрся руками. Удар и звук касания шасси с началом торможения ощутил задницей, сидя на твёрдом. При опускании кокпита стала быстро приближаться к глазам мелькающая в быстром беге бетонная полоса. Казалось, сейчас чиркнет всеми нами, как спичкой о коробок, и сотрёмся в пламени. Внезапно кивок прекратился и бег замедлился, прекратились вибрация и гул торможения. Перед глазами быстро, но плавно побежали линии твёрдой и надёжной полосы. Всё медленнее. Потом разворот и кивок при остановке.

– Саша, отцепи руки, – едва услышал я голос штурмана, развернувшегося ко мне в кресле. Я понял, что заложил уши.

– Вставай, приехали, – услышал голос пилота.

Я оглянулся. Надо мной склонился сверху пилот и улыбнулся. Я глянул на руки: они были бледные от длительного крепкого сжатия. Команда поняла, что я напуган, и пыталась как могла меня успокоить. Пилоты продолжали отключать

тумблеры. Я смог привстать, но меня покачивало. Это был мой первый полёт на реактивном самолёте. Первый и последний в кокпите с куполом. Таких больше нет. Другие скорости, другие формы. Придёт время, когда в авиации вообще окон-иллюминаторов не станет. Их заменят камеры снаружи и большие экраны вдоль стен внутри воздушных и космических кораблей.

# Суд Линча

Началась студенческая жизнь. Бесперывная и бесконечная учёба, учёба и учёба. Привитый когда-то стекловатой, получив в юности боевое крещение на стройке, я решил воспользоваться старым опытом и подзаработать летом в каникулы немного денег. Такая возможность представилась и я записался в студенческий стройотряд.

Множество студентов казанских вузов поколениями выезжали на ударные стройки пятилеток на два месяца. Это стало традицией. Интерес студентов состоял ещё и в том, что стройотрядовцы освобождались от бесплатного участия в сентябре, в холод и в дождь, в уборке картошки на полях родины. Боец стройотряда мог спокойно целый месяц, пусть и в холод и в дождь, помогать в той же уборке картошки дома, на семейном участке. Мне же было ещё приятнее: я мог поехать на юг, в Одессу, к маме.

Более чем успешно сдав сессию, прибыл я ранним утром на место отправки отряда. Погрузились в автобусы и тронулись в Альметьевский район Татарии. По приезде расположились в сельской школе. Моими товарищами по отрядной и строительной жизни на два месяца стали студенты параллельного санитарно-гигиенического факультета, и я среди них был чужаком с лечебного. Что их всех от меня действительно отличало, как потом выяснилось, это происхож-

дение. В отряде из примерно полусотни ребят было два брата-чуваша и один полу еврей (это был я).



1968 год

Но мы же знаем, что никаких полу евреев или четверть ев-

реев не бывает. Если где-то в каком-то колене в твоём генеалогическом древе упомянуто слово «еврей», ты и твои потомки будут гонимы как евреями, так и неевреями. Ты останешься навсегда для одних гоем, а для других жидом. (Вот откуда, думаю, выражение «вечный жид».) Но откуда же совершенно незнакомые мне студенты узнали о моём происхождении? От партийного комитета, от студсовета, а те – от ректората. Почему? Потому, что моё поступление в институт было сопряжено с огромным скандалом, в котором я выиграл, но не был оставлен в покое. Причиной всех моих боёв, побед и поражений являлось только моё происхождение.

Кузены-чуваши были очень колоритны. Старший, лет тридцати, его звали Аслан (Лев), был, видимо, потомком Чапаева, не меньше, потому что часто с гордостью вспоминал комдива, размахивая в воздухе кулаком, как шашкой. Он приехал с усами, как у героя, но сразу сбрил. Коммунист, он говорил бодро и громко, окая по-поволжски, об успехах советской власти и о задачах перед нами, вечными её должниками. Он был ветераном стройотрядов и был нашим бригадиром каменщиков.

Второй – Володя – полная тому противоположность. Его портрет легко себе представить: тёмные очки на незабываемом лице тогда ещё очень популярного польского киноактёра Збигнева Цибульского (погибшего за полтора года до того). Парень был совершенно добродушен и аполитичен.

На пламенные выступления Аслана Володя отмалчивался, улыбаясь. Вот так творит и удивляет нас природа. «Збигнев» был совсем немногословен. Он улыбался, как с экрана. Я спросил его, знает ли он о своём сходстве, но «кинозвезда» пожал плечами: «Мне все уже с этим надоели». Но без тёмных очков я его почти не видел – имиджа не терял.

Остальные студенты были по происхождению татары. Все – жители провинции. Я бы этому никогда не придавал значения и не упоминал бы об этом вообще, если бы они мою «принадлежность» иногда не подчёркивали. Значит, они, совсем незнакомые мне люди, знали обо мне больше, чем я бы им рассказал сам. Все они были очень неплохие ребята. Прекрасно, дружно работали. Лентяев не было.

1968-й – это было год спустя после Шестидневной войны на Ближнем Востоке. Ни мусульманский мир, ни тем более Советский Союз не могли простить ни Израилю, ни евреям в стране советов победу над исламской коалицией. Я вообще не подозревал о какой-либо связи между мной, Шестидневной войной и «мировым сионизмом». Когда выбирал город для поступления в институт, как раз шла война, а через месяц я отправился поступать в Казань. Тем более что на мой запрос мне прислали в подтверждение номер студенческой газеты с условиями поступления. Я даже не подозревал, что еду в мусульманскую страну, что со мной может здесь что-то из-за моего происхождения произойти. Я полагал, что еду в город Максима Горького, дружка его Фёдора

Шаляпина, город химика Бутлерова и математика Лобачевского. Казань! Это же – студенческая столица!

У меня вообще никогда не возникала в голове чуждость или враждебность в отношении какой-либо нации и тем более веры. Я не был верующим и то, что знал о религии, знал только от основоположников марксизма. В семье у нас был подчёркнутый интернационализм, и моё рождение тому подтверждение.

И всё же в отряде я оказался неофициальным представителем какого-то «мирового сионизма» и, по-видимому, должен был за всех ответить. Но готовым к этому я не был.

Мой отец был славянином – помор из Мурманска, как Михаил Ломоносов, чем я с детства гордился. Моими друзьями в родном городе Одессе были, помимо украинцев и русских, дети разных народов Европы, предки которых, как и мои, были приглашены в Россию Великой императрицей и её потомками.

Мы строили механическую мастерскую для совхоза. Остановились в школе в русском селе. Вечерами были, конечно, и танцы в клубе. С местной молодёжью вообще стычек не было. Как-то терпели они нас. Видимо, потому что татарская молодёжь вела себя корректно, всё-таки интеллигенция. Да и работа от восхода до заката сдерживала страсти. Я вёл себя как все, потому что был как все. Деревенские девочки оказались на удивление неглупы и симпатичны, с ними можно было поговорить и целоваться под звёздами.

Среди нас выделялся один паренёк, он всегда улыбался всеми зубами и громко смеялся. Он был смуглый, худой... нет, скорее жилистый, громко разговаривал, как араб, но по содержанию речи – глупый. Звали его Анвар. Вот он во время обеда или прямо на стройке что-то такое вдруц вбрасывал с хохотом ни к селу ни к городу, но иногда что-то с антисемитским загибом.

До меня просто не доходило, что постепенно эпицентром напряжения становился я сам. Такое впечатление, что это было какое-то продолжение бесед ребят между собой на кем-то заданную тему. В принципе, ребята были очень неплохие, нормальные, то есть обычные и разные. Кто-то интересовался поэзией, кто-то музыкой, кто-то спортом. Уверен, что они стали прекрасными профессионалами в медицине.

В большинстве парни говорили по-татарски. Это меня несколько не задевало. Моим делом было махать лопатой и таскать вёдра. Я здесь лишь гость. Меня не интересовало, о чём говорят люди, если не обращаются ко мне. Это и было правом народа на самоопределение – его представители сами определяли, на каком языке им разговаривать. Известны уловки нацистов в языковом вопросе, когда язык восточно-европейских евреев – идиш – рассматривался как попытка скрыть ими главное в содержании речи – ключевые слова, используя корни иврита. Эту паранойю использовали в обвинении народа «во всемирном сионистском заговоре».

Часто наш бригадир, как коммунист, проводил политин-

формацию. В один из обеденных перерывов, вернувшись на стройку, все расположились небольшим кругом перед началом работы. Я немного припоздал и застал реплики об израильской агрессии. Говорили по-русски. Уж к себе я это никак не относил. Это была обычная послеобеденная политинформация. Все посмотрели на меня. Мои товарищи по стройотряду сочли себя, по-видимому, представителями «исламского мира» и решили спросить с одного полуеврея за весь «мировой сионизм». Анвар прервал немую сцену, пролаяв большим белозубым ртом:

– Ну а ты что скажешь про своих братьев?

Я стоял как подошёл, но не знал, что ответить. Я не был готов к такой постановке вопроса. Просто я был счастлив трудиться вместе с ребятами, с моими новыми товарищами и ничего не подозревал.

Многие зашумели. Вдруг прямо передо мной оказался один из них, лицом к лицу, глаза в глаза.

Вообще, тот парень был молчалив и если говорил, то хриплым голосом коротко и тихо, едва приоткрывая маленький ротик на широком крестьянском лице. Я как сейчас, очень хорошо, в деталях помню его лицо в тот момент: маленькие светло-карие глазки, спокойный взгляд и молчание. Но вдруг перед моими глазами внезапно мелькнул сверху вниз ремень, и я тут же почувствовал на своей шее его удавку и жар в лице. Помню, дёрнулся руками к шее, но руки были бессильны... Возникли очень красочные галлюцинации:

как будто в бесконечной бездне чёрного космоса подо мной проплывало волнами гигантское ярко алое полотнище. Это был плащ на ком-то в пространстве вдалеке. Вдруг картинка в глазах сменилась, космос исчез, и я увидел стремительно приближающуюся к лицу траву, но не успел её коснуться. Промелькнула мысль: «Я просыпаюсь, это было сновидение! Почему я на земле?»

Ощутил себя на чьих-то руках. Почувствовал, как сняли с шеи ремень. Слышу над ухом нарастающий по громкости мат без остановки. Мат орал хриплым голосом бригадира. Двое меня уложили на траву. Одним из них был наш политпросветитель, проповедник межэтнической ненависти. Это он хотел, чтобы мы жили «в семье единой». Он присел на корточки рядом с моей головой и, размахивая кулаками, продолжал громко глаголить матом в адрес всех остальных. У меня в голове его голос и изображение как-то исказились. Несколько секунд я не мог двигаться. Всё во мне онемело. Просто лежал. Бригадир встал, и все быстро стали расходиться, подгоняемые его командами. С его помощью я сумел приподняться. Силы постепенно возвращались. Медленно, покачиваясь, поплёлся к месту работы, к бетономешалке. До меня стал доходить ужас произошедшего. Думаю, и до бригадира что-то стало доходить: с политинформацией и пропагандой получился перебор. Бригадир отвлёкся от своего нецензурного выступления перед «группой возмездия сионизму» и сказал мне вслед:

– Саша, стой. Работу отставить!

Тут же приказал двум парням сопроводить меня в школу.

Я ответил:

– Сам доберусь, – и, развернувшись, поплёлся к школе. За мной последовал только один, но ко мне он не приближался.

На закате, после ужина, все вернулись в школу. Принесли и мне поесть. Помылись, переоделись и собрались в клуб. Достали несколько бутылок вина, чего никогда не было. В стройотрядах по всей стране был абсолютно сухой закон. Разобрали стаканы. Налили всем и мне.

– Ты это... – начал один из ветеранов-старшекурсников. – Ты это забудь. Давай за дружбу.

Я молча поднял стакан, полный красной креплёной бурды, и выпил до дна тремя глотками. Все последовали хорошему примеру и одобрительно заговорили. Совсем стемнело, и все ушли в клуб. Со мной остались трое из ветеранов. О чём-то ещё говорили. С восхищением вспомнили о знаменитых музыкантах Давиде Ойстрахе, Игоре Когане... Вспомнили зачем-то диктора Левитана, Эйнштейна, Мендельсона. В общем, проявили осведомлённость и уважение в мирных переговорах. Хотя эта осведомлённость ребят в национальной принадлежности известных людей мирового искусства меня не обрадовала.

Я быстро пьянел и не мог уже даже сидеть. Тогда я ещё не знал, почему я быстро пьянею даже от одного стакана ви-

на. Об этом я узнал позже, когда японцы обнаружили у японцев недостаточную продукцию в печени фермента алкоголь-дегидрогеназы – разрушителя алкоголя. И у меня недорабатывал в печени этот фермент. Я не мог стать алкоголиком потому, что алкоголь вызывал во мне наряду с отравлением отвращение. А отвращение – это конечная цель лечебного процесса против любой зависимости.

Сознание оставалось ясным. Слышу, и эти ребята уходят в клуб. Между собой тихо говорят, что мне необходимо поспать. Ушли. Тишина.

Стал слышен шум в ушах. Кружило голову и жутко тошнило. Понял, что ноги меня до крыльца не донесут. Даже не доползу. Блевать придётся на месте и лёжа. Сбросил своё онемевшее тело с кровати на прохладный деревянный пол с большими щелями, подполье было пустым. Я закатил себя под койку и громко отблевался. Стало легче. С трудом вскарабкался на кровать и отрубился. Рано поутру проснулся как будто в силах. По холодку, в сумерках утра, пока все спали, сбегал за ведром с водой и тряпкой, чтобы смыть последние следы суда Линча со старых полов сельской школы.

Начался новый день, и работа на стройке очередной пятилетки продолжилась уже без происшествий.

Я никогда и никому об этом ещё не рассказывал.

Меня поражало, как можно было словами превратить нормальных, хороших ребят в отряд штурмовиков!

Теперь же, за давностью лет, можно раскрыть этот малень-

кий эпизод в великом противостоянии народов.

Непонятно, зачем было евреев Советского Союза вытраивать, если не хотели развала? Антисемитизм оказался мощнее политической цели сохранить страну. Все с детства любили падчерицу Золушку и презирали её жестокую мачеху, но не заметили, как сами превратились в её дочерей. Народ смеялся над дочерьми мачехи, не узнавая себя. Гибель Германии началась именно с преследования евреев. Гибель Российской империи началась с еврейских погромов и полицейского фабриката о «заговоре сионских мудрецов».

Спустя ровно десять лет Политбюро коммунистов было удивлено бегством из «дружной семьи братских народов неблагодарных евреев». Однако на этот раз антисемитизм подпитали другим поводом. Бегство евреев определили как предательство родины. Вернее сказать, их просто назначили предателями родины, как когда-то сионистами и врагами братского арабского народа. При этом были скрыты истинные причины этого бегства: дискриминация в правах, бесперспективность и униженность.



День строителя на водохранилище. Слева направо: бригадир Аслан, недолинчёванный Саша и Ильяс с душой поэта.

Сперва затравили «избранный» жертвой народ, а потом, когда он, ощутив себя чужим, почувствовал опасность и стал разбегаться, назвали неблагодарным предателем. Развязалась антисемитская кампания. За евреями сбежали все кто мог. Немцы, греки, крымские татары. А потом разбежались по домам и остальные народы. Союз нерушимый просто развалился, сам, без единого выстрела. Видимо, что-то было в нём порочное, что всех так разбросало. Но я держался до последнего. Когда к 1999 году антисемитизм выразился в конкретных угрозах мне лично, я не стал копаться в гно-

сеологических его корнях, как это любили делать идеологи Советов. Я просто покинул страну и отправился туда, куда пригласили.

## С ведром на стену

На следующий год, летом 1969-го, я снова поехал со строительным отрядом нашего института на Волгу рядом с Чистополем. Состав отряда был совершенно другим. Никаких политинформаций не было. Мы строили базу отдыха Казанского вертолётного завода на одном, довольно большом острове. Наша бригада студентов работала почти в полной изоляции от цивилизации. Это была такая малая модель Советского Союза, который тоже оказался островом в самоизоляции от «враждебного Запада» и был отрезан водоразделом глупости и заблуждений. Поэтому мы себя по привычке в изоляции не ощущали, ни в большом, ни в малом. Тем более что было просто некогда. Работали от утренней зари до вечерней.

Приближаясь на барже по Волге к острову и высадившись, вспомнил о друге-товарище, с которым год до института вдвоём работали санитарями в клинике в Одессе. Сашу Юдина забрали в армию и отправили на остров Даманский на реке Уссури. В марте 1969 года разгорелся вооружённый конфликт между Китаем и Союзом. Что там с Сашей случилось в марте, я не знал. Лишь спустя два месяца, в сентябре, приехав в Одессу, я узнал от медсестёр клиники, что Саша был тяжело ранен и где-то лечится в военном госпитале. А ещё через год я узнал, что Саша поправился

и поступил в мединститут, придя на экзамены в гимнастёрке и с медалью «За отвагу», что поставило его вне конкуренции с блатными и проплаченными. Это был тот самый Саша Большой (против меня, Саши Маленького за мой маленький рост 182 и за молодость – моложе на полгода Саши Большого), тот самый Саша, что учил меня работать:

– Сяшя, – говорил он заговорщицки, склонившись надо мной, – полы нужно мыть быстро, размазывая тряпкой по всему полу, равномерно тонким слоем, как на флоте. Ты понял?! Иначе ты до вечера не вымоешь отделение. А дел –дохрена! Ты понял?!»

Я приблизился к его глазам, посмотрел нагло снизу и ответил:

– Сяшя, ты меня на «понял» не бери! Размазывать будешь сам свои пол отделения. Ты понял?!

Мы постояли так пару секунд, молча глядя друг другу в глаза, самым стало смешно, и мы рассмеялись. С той поры мы подружились, выручали и подхватывали работу друг за другом и отделение не делили.



Но Саша большой оказался добросовестней маленького. Меня тянуло посмотреть на операции, на вскрытия трупов. Бывало, нас обоих не могли найти. Как-то так получилось, что постельный больной, дементный старик с переломом бедра попросил навестившую его заведующую отделением Галину Абрамовну вынести из-под кровати полную мочи утку, пожилая врач-фронтвик молча взяла и вынесла её в туалет, сполоснула и вернула благодарному деду. Сёстры увидели случайно эту картину в коридоре и намылили нам шеи.

Оба Саши расстались летом следующего года большими друзьями. Но связь утратили. Река времени сводит ручьи, но при выходе в океан жизни эти воды растворяются, расходятся и могут больше не соприкоснуться. В водоворотах судеб мы выкарабкивались из своих проблем и не отвлекались на восстановление старых связей. С годами так хотелось их восстановить! Но концы наших швартовых были безвозвратно брошены в воды океана.

Так и я оказался на острове, только что без обстрелов. Но тяжёлое ранение получить можно было и здесь. Наша маленькая бригада строила небольшие кирпичные сооружения для объектов общего пользования: столовая, главный корпус, баня, котельная. Электричества и вообще техники на острове не было. Ночевали на старой развалине – барже с каютами, наполовину ржавые железные кровати хорошо сохранились с Первой мировой войны.

Вдвоём с товарищем мы были поставлены на строительство небольшой автономной электростанции. Фундаментные работы были уже до нас проведены. Наша задача была возвести кирпичные стены. Я был к тому моменту уже многоопытным подсобником мастера кладки. Опыт мой был приобретён на прошлогодней строительной эпопее в Альметьевском районе. Моя задача подсобника состояла в том, чтобы подготовить к работе каменщика строительную площадку, всё необходимое должно быть у него под рукой, всё должно быть доставлено и расставлено, уложено и замеше-

но. Раствор замешивался вручную. При работе каменщика я должен был следить за процессом и, не дожидаясь его окрика, подать-поднести необходимое заблаговременно. Просто стоять и присматриваться было невозможно. Я всё время что-то месил, перетаскивал, всыпал, высыпал, накладывал, переносил, подливал и только искоса поглядывал на моего напарника, чтобы угадывать, что ему сейчас понадобится. Угадав, я бросал своё дело, подавал ему необходимое и возвращался к тому, на чём остановился. В таком темпе мы работали от рассвета до заката.

Час на обеденный перерыв мы тратили на разное. Сперва, конечно, быстренько проглатывали обед. Потом ребята могли гоняться за гигантскими стрекозами у маленьких озёр-лужиц в зелени камыша и кустарника. Иные могли помотаться в мини-футбол в густой траве. Но чтобы полежать – никогда.

По прибытии услышал от ребят, что на острове полно гадюк и лучше никуда не отходить. Но запретный плод всегда сладок, даже ядовитый и опасный плод. Решил поохотиться на гадюку. Но сначала фотографировал строительство и волжские пейзажи. Бывало, стишки пописывал.

Пару раз нас всех снимали со стройки и вывозили на грузовой барже в районный центр. Кирпич мы самовывозом забирали с кирпичного завода. Прямо из горячих печей поштучно выносили и складывали в грузовик, чтобы потом на баржу и с баржи на остров. И всё это происходило вручную, никаких кранов или транспортёров. А по острову до-

таскивали на носилках к стройплощадке. И всё так же с рассвета до заката. Каторга. Таскали на носилках или принимали кирпичи на грудь. Силы молодые девать было некуда, и мы соревновались, кто больше кирпичей перенесёт. Причём устанавливалась определённая дистанция, для всех одинаковая, такая стандартизация беговой дорожки. Если на носилках, то накладывали до семидесяти штук. Пальцы не выдерживали. Поэтому нашли приём: рукоять носилок вставляется в надетую на руку рукавицу, – и так удавалось поднять и носить. Случалось, носилки обламывались. Нужно было мгновенно отпрыгивать, чтобы кирпичами ноги не ободрать. Также и на грудь принимали с хитростями. Всё это заканчивалось потом ночными болями в спине. Но победа в состязании среди товарищей была непреодолимым тщеславием. Дураками были.

На одной из таких транспортировок кирпича мы узнали о полёте американских астронавтов на Луну. Все запрыгали от счастья, как когда-то при полёте Гагарина.

Бывало, снимали нас с острова на разгрузку барж с кусковым сахаром в мешках по 80 кг. Разгружали весь день до полуночи. Тогда я ощутил на себе, познал чувства рабов древнего мира, случайно узнавших о полёте человека на Луну. Именно тогда я заметил, что разговариваю матом. Всё же 80 килограмм гранёных камешков на горбу с каждым шагом по трапу из баржи выдавливали из меня наследие морского офицера, уступая место биндюжнику.

Несмотря на все эти отвлечения сил, наши стены росли и становились заметными в густой зелени острова. По мере роста стены условия труда становились всё опаснее. Мой партнёр-каменщик клал стены в один кирпич, стоя на корточках на узкой стеночке и пятясь назад, выкладывая за собой кирпич за кирпичом. А мне приходилось ему подносить кирпичи и ведра с раствором по этой самой, свежей кладке. Никаких строительных лесов не установлено. Энтузиазм лишил чувства опасности и страха. Стена росла. Под ней валялись кучками битые кирпичи и куски досок с гвоздями. Я остановился с полным ведром раствора. В нескольких метрах от меня, сидя на корточках, тихонько постукивал по кирпичам мастерком каменщик, мой молчаливый напарник. И я вдруг осознал, какой опасности себя подвергаю. Трезво обдумал сам с собой: «Кирпичная стена уже два метра высотой и в один кирпич шириной, кирпичи лежат на растворе, как на масле. Любой кирпич может выскользнуть из-под ноги. Неустойчивость я уже ощутил. Ради чего я должен грохнуться? Ради чего разобьюсь, покалечусь в лучшем случае? Учёбе хана. Никакого будущего. А мама?! Что будет с ней?! Мама – инвалид без руки! Что с ней станет, когда узнает, что её единственный сын разбился?! Я – это всё, что у неё есть». Так я думал, поставив на кладку ведро и сказал каменщику:

– Слышь, Стаханов! Слезай с насеста. Оба здесь навёрнёмся. О себе не думаем – о маме подумай!

Каменщик, сидя на корточках на другом конце стенки,

остановил работу, прищурился. Он глядел на меня из-под козырька потрёпанной кепочки сквозь дымок своей сигаретки. Видимо, размышлял. Не спеша, молча поднялся, выпрямился и осторожно поплёлся по кладке в мою сторону, на выход.

Мы перешли на другой объект, где леса были готовы. А на этот прибежали наши ребята-плотники, стали пилить и стучать по доскам и брускам, поднимая строительные леса.

Дни не тянулись от рассвета до заката. Они пролетали, ли-стались, едва начавшись. Никто их не считал. А мы воодушевлённо трудились. Радовались лишь в короткий момент, когда тело бросалось в полутьме на железную койку в каюте баржи, прикованной к берегу этого необитаемого острова на беззвучной глади реки Волги. На рассвете будил всплеск волны по борту от прошедшей мимо рыбацкой моторки. Мы снова неохотно вскакивали – и вперёд.

# Берегите гадов

*Берегите гадов! А то какие же вы без них герои!*

Всё же однажды... Да, напомним: там же, на необитаемом острове на Волге близ Чистополя, в 1969 году, в стройотряде. Во время обеденного перерыва я рискнул выловить гадюку. Вокруг нашей стройплощадки был серпентарий. Напомню, строили мы базу отдыха. Стояла жара. Как видно, работали одетыми по сезону: тонкие, как носовые платки, строительные рукавицы, плавки и зацементированные кеды. Всё. Да! Кепочка от солнца и тёмные очки для пижонства. В это же время Армстронг со своим дружком топтались где-то в лунной пыли, а мы тут – в грязи и в строительном мусоре. С рассвета до заката мы строили и жары не замечали.

Гадюк было много. Чтобы их найти, пришлось побегать между кустами и густой высокой травой, рискуя быть укушенным, в случае если случайно наступишь на бедную рептилию. Передвигаться пришлось очень осторожно. Гады могли лежать на бугорках и греться на солнце. От этого прогревания они становятся очень энергичными и опасными. Это понятно: они хладнокровные. Когда увидел в травке на бугорке подогретый, мирно спящий чёрный и блестящий клубок, не спуская со змеи глаз, сделал рогатинку и двинулся на неё. Разбудил. Очнувшаяся гадина попыталась пона-

чалу от меня бежать своей извилистой дорожкой. Рогатинкой я её возвращал, держась голыми ногами от неё подальше. Эта дразниловка ей надоела, и она набросилась на источник опасности, как загнанная крыса. Я успел отпрыгнуть. Промахнувшись, гадюка стала лучше целиться. Снова бросилась, и снова мимо.

Змея сменила тактику, притаилась и стала поджидать, когда я приближусь. И я приблизился, присел и поднёс к её мордашке руку в рукавице. В другой держал свою рогатинку. Змея бросилась на рукавицу. Я рисковал. Тонкая ткань была самообманом в защите. На всякий случай я не давал острым зубкам коснуться рукавицы, вовремя отстранив руку и рефлекторно отпрянув телом. Бросившаяся в прыжке в мою сторону змея оказалась на мгновение лежать у моих ног. Я в тот же миг насадил ей позади головы рогатку. Спиралью змейка обвила прутик снизу доверху. Только головка её оставалась у земли. Тогда я сбросил рукавицу и перехватил прутик. Аккуратно взял змею за шейку непосредственно позади головки и посмотрел ей в глазки. Они оказались змеиными.



Тогда я прихватил прутик и змею и отнёс на стройку – показать ребятам. Положил свой боевой трофей на бетонную площадку, и меня сфоткали. Снимали с безопасного расстояния. При увеличении резкость снизилась. Обеденный перерыв закончился. Я отошёл от стройки и выпустил перепуганную гадюку на волю. Но так, чтобы она не смогла отблагодарить своего освободителя прощальным гадючьим поцелуем руки.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.